

Ирина Иванченко
Наталья Ладышкова

На другой стороне

2016

УДК 821.161.1-1

ББК 84(4РУС)-5

И 78 Иванченко И.С, Ладышкова Н.А. На другой стороне. – Х.: Мачулин, 2016. – 332 с.: илл.

Иггдрасиль прорастает робко в соседнем сквере из обычного семечка, брошенного в пыли.

ISBN 978-617-7697-65-7

УДК 821.161.1-1

ББК 84(4РУС)-5

© Ирина Иванченко, 2016

© honey_violence, 2016

© Наталья Ладышкова, 2016

© Last_aT, 2016

Я не умею сказителем быть, как ты,
особым талантом издавна не блистал.

Я вижу листья и пою про эти листья
голосом хриплым, и совесть моя чиста.

Федра



Люби

Ты, чьи ладони нежны, не изрезаны лезвием волн, ты, чья душа наполнена солнечной теплотой, ты, на чьей шее выются нитями жемчуга, добытые мной в подарок, будь вместо меня — жена!

Ласку ему дари, тихая, словно штиль, слова ему говори человеческие, свои, которые он поймет, а не забудет, как шум свежий, дикий, морской, затихающий поутру в теплой постели, нег полной — горячий мед! Нежи его, родная. Оставь мне мой вечный лед.

Времени прекратить этот нелепый бег сможет любой из вас, но не сомкнете век. Русалочью душу не жаль, она, словно пена, пуста. Ничтожна для вас цена — за ноги — ее хвоста. Обида уснет на дне, обиду укроет ил.

Люби его долго-долго, люби его за двоих.

Но только страшись увидеть седые его виски и, зная, что он уйдет, не утешить его тоски, когда, одинокий, выйдет на берег, шагнет в волну.

И миг повторит, в который
когда-то
не утонул.

Мермы

Начитавшись историй о жизни своей прабабки,
она лезет на берег моря, хвоста не пряча,
и надеется встретить принца, других прекрасней,
и не нужно ни зелий ведьмы ей, ни удачи.

Побережье пустует дни напролет: ни принцев,
ни хотя бы на них отдаленно мужчин похожих.
Не сдастся русалка: пусть будет уже, кем будет,
и простого она любить больше жизни сможет.

Полумесяц сменяет в небе луны монету
трижды, прежде чем угасает сердца любви волнение,
понимает русалка, что сказки на то и сказки,
чтоб вовек не случаться, тем более, чтобы с ней.

Путь до дома неблизкий, шторма, небеса чернеют.
Она лодок разбитых считает, пlying, скелеты

и мечтает: «Ах, если бы юношу мне спасти, то полюбил бы меня тогда всей душой в ответ!» И

на тринадцатый день ей все же везет, и в бурю попадает корабль. Русалка в мечте о счастье, порываясь спасти, кидается к нему ближе, и ее разрубает лопастями на части.

Свобода

Это есть свобода от всего:

шторм в душе давно истаял в штиль, и

невозможно вспомнить о былом:

он и я, мы кем друг другу были?

Были ли вообще... Ветра, моря.

Волны в грудь стучат теперь снаружи,

как когда-то билось изнутри,

а он был мне так безбожно нужен.

Хвост отдать? Бери же все хвосты

моих жизней будущих подводных.

Голос мой отдать и в тишине

приходить к нему, в любви негордой,

в ночи обнаженной, как Луна:

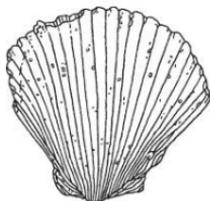
бледной, робкой, тонкой, синеглазой.

Сколько мне отдать? Бери же все.

Забирай же все — и не по разу,

нити жизни спутай нам в одну
крепкую, нервущуюся леску.
Спальня, что была отведена —
смеху-то – все называли детской,

я была, вот шутка-то, ему
от рассвета до ночи *сестрою*.
Ведьма, забери себе назад
это сердце. Он того не стоит.



Обещали любовь

Обещали любовь, а досталась с тоскливым воем
загрудинная боль: не утешишь и не укроешь.

Пинать гальку морскую, истаптывая ботинки,
повдоль берега путь класть по грязной воде и тине,
и искать, и искать, и, увы, не найти в итоге:
обменяла на хвост снова белые свои ноги,
уплыла, убежала, с реальностью не смирившись,
что ни капельки общего у сказок нет добрых
с жизнью.

Где ты, дура морская — солёные-на-вкус-губы?
Тоска страшная, черная меня по тебе
по-
гу-
бит.

доберется лапой жадною до груди,
вырвет сердце ее ласковое — прочь жалость.
Принц, ее не полюбивший, не пощадил,
нелюбви своей вонзив в нее злое жало,
значит, мне жалеть не нужно ее вдвойне,
только колет в клетке ребер чертовски сильно,
и не хочется мне цену ей говорить,
пусть она помочь сама же меня просила.

✱

Варево готово от бед мое,
выпьешь — и уйдет боль, уже не тронет.
Она преподносит мне алый ком
вырванного сердца
в своей
ладони.

Говорил

Говорил, что нет на земле подобных,
прижимал теснее, целуя в лоб.

Чешуя будь шерстью, вставала б дыбом.

Не огнем то было, а горьким дымом,

не любовью было, а жадной страстью,

за нее пророчили мне пропасть,

обратившись пеной холодной, скользкой.

Наигрался: смотрит, но больше вскользь,

и любовь горой: ни взойти, ни сдвинуть.

По ножам ходила — вонзились в спину.

Рассмеялась, только звучало воем:
загрудинные боли ничем не скроешь.
Каждый выдох и вдох, как огня касанье.
На ресницах длинных всегда роса,

и в сетях ресничных синица взгляда
бьется, выхода ищет, но он не рядом:
доползти на ногах человеческих смочь бы.
Убегает моря шальная дочь,

и огонь в ней тушат морские волны,
забирая сердце — и вновь
не
боль-
но.

Вспомни слезы русалки, которая, нож сжимая,
в тень шатра не ступила, простив свою смерть тому,
кто спал тихо и сладко, не слыша, как тело камнем
соскользнуло ее, и позволил ей утонуть.

Вспомни песни прибоя, кричавшие ему в уши
о любви безграничной, глубокой, как океан,
разве слышал он их, за стенами дворца укрывшись,
разве знала русалка, что это и есть стена,

что была между ними, оставшись вовек на месте?

На такую взойти невозможно, не обойти.

В миг, когда принц увидел дно моря в покорном взгляде,
разошлись, не связавшись, два разных таких пути

по песку и по волнам, которые без истерик
отошли в глубину, не разрушив и не сгубив,
оставляя на память тоску, как порой на суше
оставляет ракушки тихий ночной прилив.

Голос

Безголосой оставить, голос упрятать чтоб,
раз решила себя в любовь запереть, как гроб,
где, как крышка, захлопнулись Принцесы "извини",
и любовь к другой женщине гвоздями теперь звенит,
забиваясь в нее, вколачиваясь по грудь.
Безголосой оставить, чтоб опосля помянуть,
все вокруг говорить заставив с остывших губ.

Как же принц твой, русалка, глуп!..
Как же слеп и глуп.

Словно дома порог, возле ног волн граница черная.

И стоит она: отлученная, обреченная,

в дом войти свой не могущая,

дом свой отдать посмевающая

взамен чувства жестокого,

что сотнями лезвий режет,

что, рассвет чуть взойдет, сделает пеной тело, а

что хотела на суше узнать неземная дева,

издали полюбившая, допущенная едва ли

дальше замка порога, полога не дальше спальни,

где другая владычица, где места не будет третьей?..

Посмотри напоследок: солнце так ярко светит,

волны бьются и лижут ноги последней лаской.

Где начался, там и закончится твой рассказ.

Здесь никто никого не любит

Здесь никто никого не любит, русалочка, ты зря ищешь,
тебя искренней не найти среди них, не найти и чище
твоих слез, что по принцу пролиты со дня свадьбы.

Ну скажи мне, моя хорошая, стоит ради

человечьих существ менять дно океана, хвост ли?

Нож, что ноги изрезал, по-прежнему столь же острый,
хотя годы прошли, впору ранам болеть пореже,
а они все кровят, будто кто-то нарочно режет,

но позвать не сумеешь, так как голоса нет, врача, и
качаешь, как сверток с младенцем, тоску качаешь,
чтоб терзала поменьше, да только кричит, больная,
и тебя в себе топит, соленая, как волна.

Выходит на берег

Выходит на берег, за дальней волной — восход,
и солнечный луч, прикасаясь к ней, жалит кожу,
но море у ног, и ничто уже не тревожит.

Зажатый кинжал опускается на песок,
и алые капли в нем исчезают тут же.
Того, кто не стал царем ей, не стал ей мужем

холодное тело утром найдет слуга,
и горько завоет всякий, услышав вести.
И черное платье придется надеть невесте.

Она по колени в прибрежной стоит воде,
сдирая корсет, из косы выпуская волос.
А в горле саднит. И хрипит,
возвращаясь,
голос.

На дне морском

На дне морском кладбище из нелюбивших принцев.
Русалочка опускает долу ресницы
и прячет глаза, и прячет за спину нож; и
этому новому принцу едва ль поможет
его храбрость, доблесть, отважность его и смелость.
Русалочке прежде тоже свободно пелось,
пока не отняли и сердце, и голос нежный,
и ноги проклятые дали взамен надежды
и права вернуться обратно домой. Подарком
отцу и сестрицам шлет она страшный дар
остывшего тела: жива, мол, а тот, кто предал,
потомки его, все и каждый, пойдут обедом
пусть тварям морским, а кости укроет илом.

Русалочка не прощает. И не забыла.

Раз волна, два

Раз волна, два, мой брат, я иду искать.
Цепи следов твоих тянутся по пескам
к морю от замка, в волну и затем на дно.
Мы же с тобой родные теперь, родной,
сестрой назвавший? Явись же в наш общий дом.
Ловишь остатки воздух белым ртом,
молишь глазами синими, как моря.
Чувства родства тяжелее, чем якоря,
брат мой, сестрой назвавший любви замест?
О, там, на дне, в нашем доме, так много мест,
что всей земли распрекраснее. Привыкай.
Тянется к свету в толще воды рука,
тянутся вверх пузырьки – и зачем на дне
воздух нам, брат? Ты холодный теперь родней
станешь сестре, раз сестрою назвать решил.

Я не дышу здесь. Ты тоже здесь не дыши.

Обещали любовь

Возвращаешься в море. Укачивает на волнах.
Принц поклялся не делать, но все сделал больно.
Но теперь прежний мир неродной и тошнит от рыбы,
и хвост гибкий, зеленый, как камня на шее глыба —
ни вертеть, ни плыть ровно, все мечешься, как дурная.
Королевства принцесса без роду, семьи и края:
убежавших не ждут – позабыли давно, отпели.
Выползаешь неловко поближе к дворцу на мель,
смотришь в окна высокие, проклятья туда швыряя,
но они не летят туда птицей, поскольку давно немая,
и на дно не нырнуть к ведьме, что оказалась правой,
потому что, двуногая, ты разучилась плавать,
но чужой оказалась на суше душа морская.
Обещали любовь, а досталась одна тоска.

Мы уже обречен

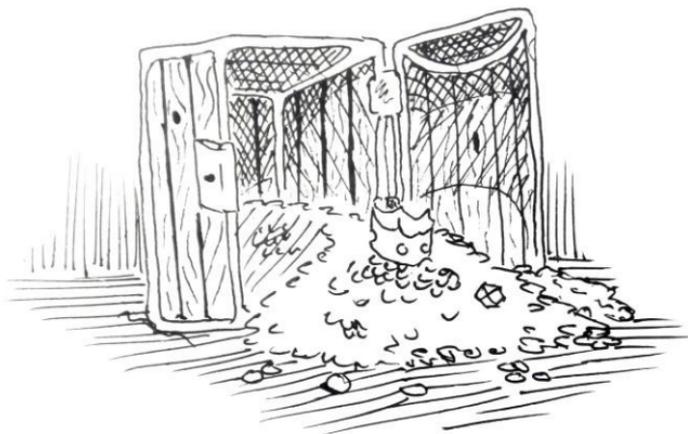
Ты уже обречен, решивший меня позвать
из глубин первородных, дно черное взворошив,
так зачем теперь страха полны твои глаза,
так зачем мед молитвы горлом льет из души?

Он отходит подальше, берег, словно черта,
только это, увы, лишь сказка, не оберег.
Ты позвал меня, я пришла к тебе, теперь твой
отплатить черед мне душой своей, человек.

На рассвете проснешься, рядом лежит жена,
за окном только солнце в царстве, где нет войны,
и до старости будешь править, и воспевать
после смерти твоей в четыре все стороны

твою доблесть умчат потомки твоих детей,
и останется память о жизни, полной побед.
Только знай, что во веки вечные пребывать
после здесь, в глубине, со мной, на холодном дне,

в доме ведьмы, о ком истории услыхав,
посмеявшись, решил просить у нее богатств.
Что стоишь теперь плачешь над черной дырой в груди,
царь, богаче всех в этом мире подлунном царств?



Все было не так

Все было не так, а обман разошелся в годах,
не оставив потомкам истинный ход событий.

Перед плаваньем дальним принято было в дар
отдавать богам жертву, чтоб после спокойно плыть.

Отправлялось тогда в путь семьдесят храбрецов
за далекое море, где прежде никто и не был,
и боялись уплыть, домой не найдя пути,
и молились пути дать обратно земле и небу.

Подносились всегда фрукты, овощи и вино,
в этот раз девять дней кровь звериная мыла камни,
чтобы боги следили, и тихой была волна,
чтобы целым уплыл и вернулся домой драккар.
Шторм не слышал молитв, высыхала кровь на камнях,
недовольны дарами были такими боги.

Она вышла на берег в утренний тихий час,
и волна улеглась, воды лишь коснулись ноги...

Принят был этот дар, так решилось тогда средь тех,
кто глаза отводил, готовя меж тем веревки.
Разве может противиться воле тот человек,
кого в жены сам бог бескрайней воды берет?

В тишине отходил корабль под ветра свист.
Была брошена дева в сердце той страшной бури,
и тотчас море стихло, а неба седая хмарь
расползлась, обнажив полотно

поднебесья густой лазури.

Возвратились домой восемь месяцев все спустя,
ни один не погиб, богами от бед укрыты.
А у берега в память выставленной цены
лежат кости, как в саван, в мокрый песок зарыты,
не уносит волна их, не точит, лишь стережет,
не дает позабыть о страшном людском секрете,
и от белых костей этих в море ползут следы,
растворяясь в волнах в час утренний на рассвете.



Утром она ездит

Есть королева, она из металла и нервов.

Она работает в фирме, зам.директор (читай: диктатор).

Она не сносит голов, она не кричит их рубить,
она только искоса смотрит и уменьшает зарплаты,
и король с ней всегда согласен,

хотя он над ней начальник.

Есть белый кролик. Спортсмен, тренер фитнес-зала.

Днями куда ни шло, ночами по всяким дырам.

Простите меня сердечно: ночами по всяким бабам.

Но те, кого он снимает, ни капельки не Алиса,
поэтому их не жаль менять ему, как перчатки.

Есть парень. Он любит шляпы, он некрасивый,

но модный.

Он учится на дизайнера и любит иглы и красный.

Он спрашивает людей о любимых сортах их чая
и мгновенно влюбляется в ту,

что ответила ему: "Разный".

Она ему носит фрукты и навещает в больнице.

Есть мальчик, он стоит многих, он улыбается ярко,
он улыбается светло, и с виду — франт и повеса,
он любит жестокий секс, впиваться зубами в тело,
и каждый провал на публике —
его персональный праздник.

Мальчик красив и голуб, пока не ломают челюсть.
Есть мальчик-который-ежик, есть брат,
задушивший брата.

Есть девочка — злая крыса, есть девочка — птичьи ноги,
есть много людей, которых Алиса объединяет,
в огромном и душном городе запертых безвозвратно.

Алиса на это смотрит, плюет и берет билеты.

Ей в городе этом скучно. И утром она уезжает.

Ах, Алиса

Ах, Алиса, я ждал и верил,
зло смеялся судьбе в лицо.
После сдался. Сдается каждый
в конце
концов.

Ах, Алиса, я ждал так долго,
столько люди других не ждут.
Вы мне раной на сердце были.
И вы же -
жгут.

И я дрался со страхом едким,
отпуская года, как птиц.
Столько перьев, глядите, прячет
печаль
страниц,

где история ваша - наша -
не дописана.

До поры?

Но там точка,
как спуск пугающий
в глубь норы.

Впрочем, вряд ли пропустит с легкостью
вас обратно в себя нора,

заяц, спрятав глаза, сбежит, сказав:

"Вам
пора",

потому что сюда не поездом

едут, выбрав удобный час.

Мир чудес проживет чудесно, как
жил.

Без вас.

Ах, Алиса, моя Алиса,
Вас обратно, увы, не пустят.

Нежно любящий,
верно преданный.
С вечной грустью,

...



Это было давно

Это было давно, не помню уже деталей.
Только взгляд васильковый, пшеницу ее кудрей.
И не хочется все же, но я говорю о ней.
Я по-прежнему, слышишь, Алиса, все так же очень,
пусть немного не так, как прежде, но до сих пор.
Ты, украв мое сердце, сбежала, как гнусный вор.

С этой страшной дырой, что центра груди левее,
не живетя совсем. Там Сони теперь гнездо.
Хоть кому-то из нас и в чем-то хоть повезло.
Ты прости, что опять тебя вспоминаю всеу,
твое имя на вкус, как старый остывший чай.
Продолжай, милый друг, не помнить и не скучать,

а я справлюсь, Алиса, с тоской и твоею клятвой
вновь найти сюда путь. Живешь, позабыв ее.
А в шкапулке хранимое сердце мое гниет.



Маленький Принц заказывает повторно
два пальца виски. Разбавленного, конечно.
Оглядывается, прищуривается немного,
как будто Лис здесь и он его вот-вот встретит.
И полетят обиды, слова-кувалды
ударят в грудь, кулак промелькнет по скуле.

За то, что предал. За то, что спустя так много
недель/дней/лет
по-прежнему
не тоскует.



Подорожник не вылечит всех застарелых ран.
Принц недолго был Маленьким, вырос не по годам
полным мудрости скорбной, полым от тишины.
Звезды смотрят насмешливо на Землю с вышины

и дурманят его мечтами домой сбежать.
Лис глядит на него, и рана его свежа,
как и в первый день встречи: стонет, болит, кровит.
Никогда приручивший прирученных не хранит,

так, волнуется вскользь, забегая порой на чай.
Предпочтя эти раны просто не замечать.

А ты думаешь, он вернется?
Только годы идут, идут,
и лицо его в толще памяти,
как у прочих других Иуд,
руки ласковые, что нежили,
оказались, как у иных,
и не так уж, давай по-честному,
часто он посещает сны,
чтобы верить и ждать по-прежнему
и молиться на каждый звук.
Да, те руки одни на тысячи,
но... они просто пара рук.

Мое приручил

Ты приручил, так будь за меня в ответе —
верность твоя будет тебе уроком.

Принц убегает, найдя дела поважнее,
нежели тот, кто выдохся одиноким
жить день за днем, кто, в нем обретя свой смысл,
смыслом не стал, и это... ну тоже ценный
опыт, с которым живется — и чаще плохо —
каждому проигравшему в этой сцене,
что была прежде шекспировски-театральной,
а стала грязным ристалищем и ареной.

"Ты приручил, так будь за меня в ответе".

Шепоту нежному в ответ плевком:

"Неприменно".

Не приручайте

Не приручайте ж вы, Господи, тех, кто не дорог вам,
кем не забиты ни сердце, ни голова,
кто там не екает молниями в груди.
Имейте ж совесть сжалиться, пощадить.

Да, так приятно видеть, что ты любим.
А как же этим, кто становится нелюдим,
поскольку мир сужается до тебя?
Тебе плевать: не увидеться, потерять,

нить разорвать. А им жить потом и дышать
как, если рвется глоткой в словах душа
как-то оставить/суметь задержать с собой?
Лис, прирученный и сосланный на убой.

Мы бы сбежали

Мы бы сбежали, Принц, только некуда.
Времени завалить камнями реку бы,
бег ее прекратив. Вянем, теряем месяцы.
Пальцы, тебя касаясь, дрожат и бесятся,
мысли, тебя касаясь, ползут сторонкою.
Там, где когда-то сталь, там веревкой тонкою
связаны. Расплестись — шага два. Шагаем, и
планетка была мала, а теперь больша-

а

а

я.

Я остаюсь ему верен

Я остаюсь ему верен, до смерти уставший Лис.
Он мог сказать когда-то, ногой отопнув, мне: "Брысь!",
я бы с обидой горькой ушел, но остался б жив...
А теперь пластырь сверху любви моей изо лжи
собственной, чтоб не видеть правды, ношу, но нож
слов его прочь сдирает с мясом всю эту ложь;
и я — на ране рана — так в верности своей глуп:
однажды любовь оставит от Лиса холодный труп.

Твоя Роза подохла от холода и апатий

Твоя Роза подохла от холода и апатий
только новости эти Принцу уже некстати:
на планете так много роз, и забыть так просто
ту одну, что осталась где-то вдали среди звезд,
превратившись в память, став фактом одним из жизни.
Подтверждением новым вечной любовной лжи.



Да иди ты

Да иди ты на все четыре отсюда пешком.

Притащила воз роз, а на кой они в царстве мрака,
где вокруг только лед? Я прошу тебя, Герда, дура,
зарекаю тебя, прекращай же, ну хватит плакать.

Забирай это все, ни к чему мне твои подарки,
что в сравнении с тихой поступью Королевы
и ее белых рук подарить мне смогла б простая
девка вроде тебя? Только тело, да, только тело.

Но что руки твои, озябшие от мороза,
все в царапках колючих от холода и от ветра,
что мне ноги твои, истоптанные до крови,
что от сердца в груди, горящего безответной

жадной, жалкой, ненужной, мешающей тебе страстью,
этой нежностью, что и льдины согреть не в силах?
Уходи, пока можешь, о, гордая и босая,
я тебя приходить сюда, в общем-то, не просил.

В этом царстве холода

Снежная Королева АИ

Тени расползаются, как щупальца, в этот мрак
еле пробирается свет солнечный, он здесь враг,
еле пробирается туда, где, закован в снег,
Кай лежит, как мертвый в гробу своем,

в вечном сне.

И от этой боли не скрыть за броней щита,
Герда выдыхает, пробует сосчитать,
как ее учили: один, два, четыре, пять,
девять, десять. Только кошмар не спешит сбежать,

он лежит и смотрит, и пуст его взгляд. Стекло.
Герда зажимает ладонью рот, но иголкой
боль заходит в сердце, когтит, словно птицамышь:
господи, пусть дышит, пусть дышит,
пусть только дыш...

Только ни движения, ни вдоха, и кожа — лед.
Кай лежит здесь столько, что больше уже не ждет,
что придет однажды за ним, кто его не спас.
Герда тихо молится: господи, только раз

выполни желание, верни мне его, как был.
В этом царстве холода мы столько лет с ним рабы,
что дозволю сбежать уже обоим назад, домой.
И горит в груди ее сжигающий все огонь,

плавит все, расходуется, лед руша и царство тьмы.
Только возвращается домой Кай уже иным:
и немым, и тихим, с ожогами тела вдоль,
потому что лед теперь привычен, тепло же боль

причиняет страшную. И просится Кай назад.
И мерцают льдинками пустые его глаза.

Говорит, я прошла так много

Говорит, я прошла так много,
ну вернись ты, ну ради бога,
и глядит еще страшно, слезно.
Отвечаю: "Нет, Герда, поздно".

Говорит, без тебя нет смысла,
сколько можно по свету рыскать?
Но на все ее "будь разумным"
отвечаю: "Глаза разуй, а,

разве мало тебе льда было?
Поумнее б была — забыла".
А она на мои "свали же!"
на коленях ползет лишь ближе.

Сколько можно, ну боже правый,
как ее мне назад отправить,
если холод не видит дура,
продолжая о светлом думать?

Говорю, с головой неладно.
Возвращайся домой обратно.
Вытирает по щекам влагу.
И не делает прочь ни шагу.

Угара

Герда пускается следом, как пес, за Каем,
капли кровавые Гензелем оставляет:
хлебные крошки рассыпал в лесу впустую.
Герда рискует, о, как же она рискует –

сердце остынет того, как найдет, задолго.
Кай еще рядом, а взгляд уже злой и колкий,
и таким был всегда. Но, теплом укрытый,
не опалял им нежность своей сестры,

не раскрывал ни сущности и ни сути.
И, провожая девочку эту в путь,
каждый из встреченных ею глядит и плачет.
И не желает найти ей его удачи.

Я смотрю на него так робко и не дыша.
Бесконечность прошла, и нет сил на последний шаг.
Прикоснуться к тому, для кого принесла тепло,
рука тянется, натывается на стекло,
замирает неловко, ей вторит то, что в груди.
Говорю, это я, я пришла. Это я. А он вскользь глядит —
так на мусор не смотрят: холодная пустота.

Говорит, заглянула — спасибо.
И машет, мол, выход там.

Королева

Ветер, сминавший ее, как лист,
ей распрямляет плечи.

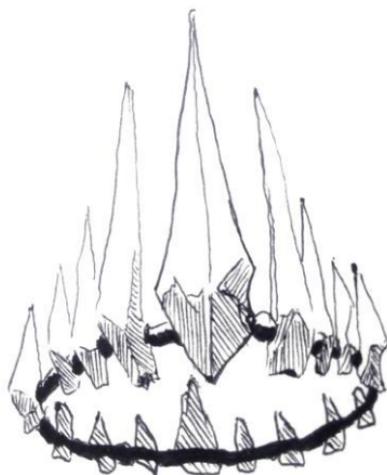
Что ты дрожишь так, о милый Кай,
ты ль не молил о встрече?

Герда стоптала до дыр сапог
пару и стерла пятки,
и не найти уже белых ног
узкие отпечатки —

снег все замел. И ее замел;
в взгляде прозрачном кружит.
Холод, что был для нее врагом,
лучшим стал из оружий.

То, что терзало, теперь хранит,
гладит ладонью снежной,
и ничего не болит внутри,
острый хрусталь не режет,

в сердце зававший. А впрочем, там
бьется ли что-то слева?
Та, что дошла до дворца из льда,
ему теперь Королева.



Каю страшно, Кай задыхается

Каю страшно, Кай задыхается —
Герда медлит и не идет —
изо рта пар не вырывается,
да и тело на ощупь — лед.

Каю муторно, Каю боязно,
сердце бьется, но раз на раз,
и глядеть бы, сестру высматривать,
только слепнет на левый глаз,

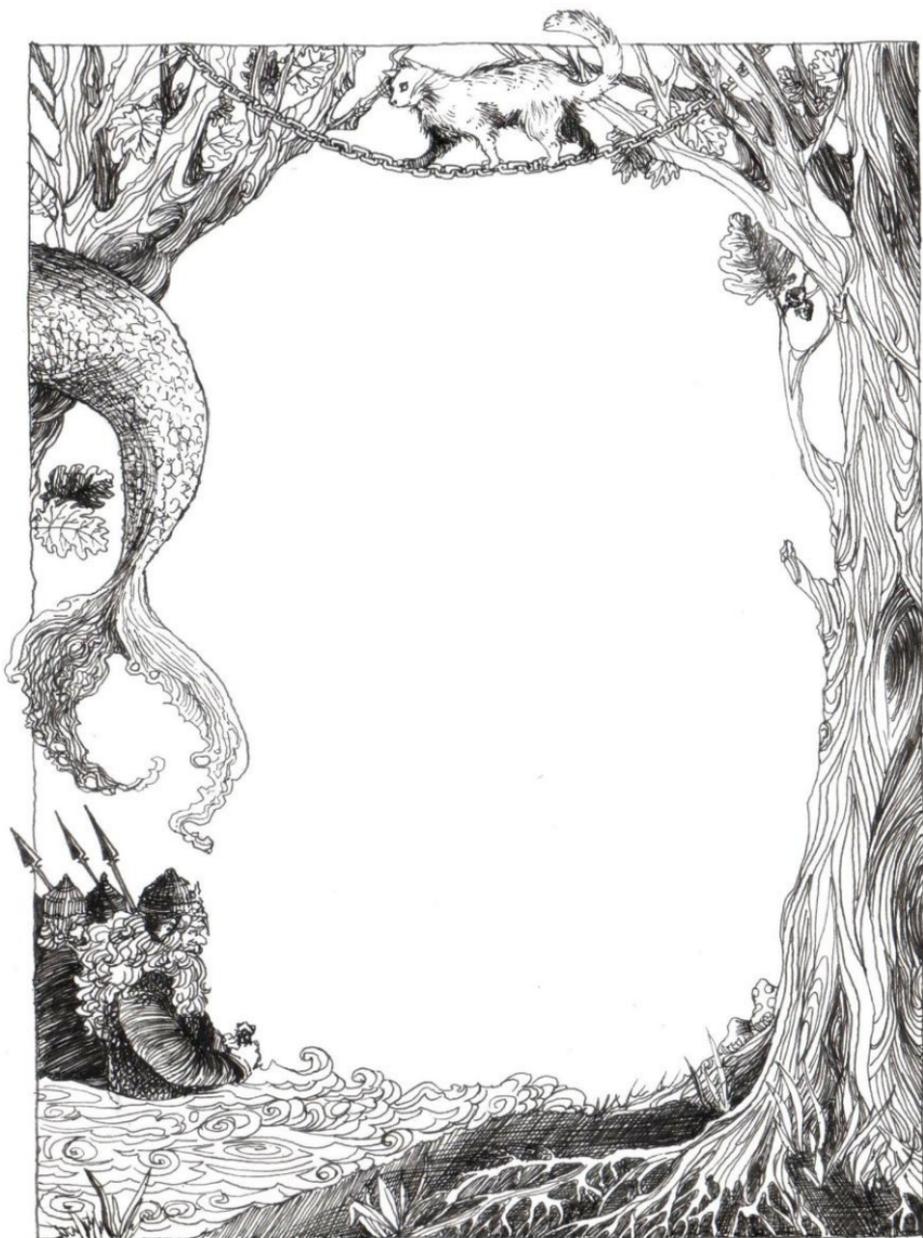
где осколок сидит и режется,
искажая добро до зла.

Кай боится, что Герда явится
и не сможет его узнать,

и уйдет, не спасет, не выручит.

И такая зудит тоска,
что стареет Кай в год на несколько;
белым мажет повдоль виска.

Герда входит тихонько, ласково
зазывает: "Ты где, мой брат?"
Но Кай сломлен, разбит и вымучен.
И ни капельки ей не рад.



Питер Пен

Он прилетает испуганным, покалеченным:
жернова времени нагнали и изувечили.
Стынет над Лондоном серый, промозглый вечер.

Венди глядит отчужденно и с равнодушиной:
эти истории видели, знаем, слушали.
взрослость приходит к каждому. И все рушит.

мечется в клетки взрослого тела Питер,
дверь закрывается в детство надрывным скрипом.
Скрипом? Точнее, с воплем надрывным. Криком.

Венди, как в кокон, прячет его под пледом,
кормит его полезным ему обедом
и обещает отправиться за ним следом.

Только в Нетландию путь им уже заказан:
мы вырастаем. И вырастаем сразу,
так, что моргнуть порой не успеем глазом.

Он по подушке мечется, тихо плачет.
Венди, кричит, что все это, скажи, значит?
Что надо мной стоит, как немой палач?

Венди уходит, закрыв за собою двери.
Правда пришла, пусть ты в нее и не верил,
так принимай по-взрослому, без истерик.

Питер ломается, как куколка из картона,
и больше не молит о светлом, живом "потом",
просит добить скорей. И забыть на том.

Наутро встает, вливается в строй прохожих.
Он неотличим, он теперь стал на них похожим.

И ты, что читает это.
Однажды.
Тоже.

Не взрослей, моя девочка

– Я взрослая, Питер. Я уже давным-давно выросла.

– Но ты обещала не вырастать!

– Я не смогла.

Не взрослей, моя девочка, не взрослей...

Паруса раздувает ночной фрегат,

забирая тебя от меня к звезде,

где далекие прячутся острова,

где далекие ныне — но так близки

каждый мальчик потерянный, их вожак,

о котором я все расскажу тебе

и который мне главного не сказал.

Не взрослей, моя девочка, не спеши.

Жизнь-злодейка отнимет твои мечты,

лучше прочь улетай, там покой души

в окружении неба морей цветных,

там пираты не книжные, наяву,
там русалки ныряют под водопад.
Не взрослей, моя девочка, не взрослей,
повзрослеешь — не будет пути назад.

Уходи, там заждался тебя твой принц.
Мы так схожи с лица, что не отличить.
Возвратись и люби его за двоих,
я ушла, не решившись тогда любить,

хоть в девичьем сердечке огонь пылал —
еще крошечной искрой — такой живой!
Не взрослей, моя девочка. Улетай.
Уходи, а иначе ты станешь мной.

Станешь взрослой, задумчивой, неживой,
станешь в пять выпивать надоевший чай,
и всю жизнь, зная: мальчик не прилетит,
проспать с надеждою по ночам.

Щука клянется

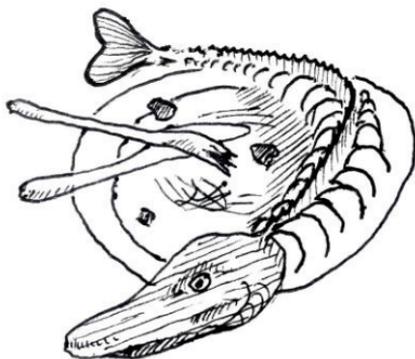
Щука клянется, божится, хвост ее ходит, как ладони, трясущиеся от страха. Говорит, буду тебе невестой, сеть рыболовная вышла с тобой нам свахой. Говорит, буду тебе рабыней, дно океанское крошечное – не скроюсь. Говорит, буду тебе, чем хочешь: подругой, судьбой, женою, радостью буду, ушами, чтобы послушать, губами буду — правду среди лжи ведать.

Говорит. Емеля руки в карманах греет, недовольный морозом, сказками щуки, снегом, недовольный жизнью своей, похожей на прозябанье, недовольный тем, что хочется, а не может. Он ладони к щуке тянет, та в них влетает, чешуя ее цветная сияет и греет кожу; и не рыба совсем — горяча по-человечьи, и слова ее Емеле кажутся чище истин.

Говорит, украшу жизнь тебе, чем захочешь, будет жизнь твоя светлее любого жизни. И Емеля долго думает, глядя, как щуке душно вне воды, ее родившей;

но сердце к посулам глухо — жизнь пустая на печи в
бездействии ему слаще.

Он берет ее покрепче и
вспарывает
ей
брюхо.



Клином сужаются улицы

Клином сужаются улицы, крыши теряют прочность.

Я прихожу к тебе, точнее, слетаю ночью, каждую ночь, но окна твои так темны, за ними тебя уже нет. Ты вырос, и детство, сменивши имя, ушло за тобой во фраке, затянув, как петлю, шею в стандартный и взрослый галстук, повесив святое время, когда убегали вместе подальше от тех, кто старше. Малыш, в твоих окнах света давно уже нет, мне страшно.

Малыш, возвращайся, к черту чужие уставы, звания!
Они ничего не смыслят, они ничего не знают, а ты, чем ты дольше с ними, меняешь цвета на серость, не видя, что эта взрослость не лучшая перемена.

Я помню, как звезды бились о наши с тобой ладони и ждали, пока подарком мы их для себя откроем, спеша наши все желания исполнить. Что загадалось? Собака и торт? Варенье? Малыш, как ты выбрал... *старость?*..

Карлсон приходит

Карлсон приходит, а мальчику тридцать пять,
мальчик теперь мужчина, худой и бледный,
в тонких очках, усталый, немного вредный,
и его трудно, так трудно теперь узнать.

Карлсон приходит, а мальчик ему не рад,
мальчика гложут иные теперь заботы,
он, не узнав его, спрашивает вдруг: "Кто ты?",
и от вопроса такого в груди дыра.

В комнате этой не помнят полеты с крыш,
шумный щенок и тот теперь только память
на фотоснимке выцветшем в пыльной раме,
где еще живы варенье,
пирог,
Малыш.

К ведьме приходит

К ведьме приходит, несет дары,
падает в ноги ведьме,
мне, говорит, без него не жизнь,
мне без него — смерть.

ведьма кивает, мол, сотни вас,
в ноги валясь, рыдали,
всем помогла отогреть в чужой
комья груди льда.

Воеет, смеется, косу дерет,
мол, у меня хуже:
рядом что пес, только мне б еще
ближе — вот как нужен.

Чтоб не дышал без меня: не мог,
не отводил взгляда,
чтоб воздух в грудь его лез свинцом,
если не с ним рядом.

Ведьма кивает, мол, нить спяду —
не разорвать будет.

Думает: вот какова любовь,
вот каковы люди.

Любят, а сделай еще нужней,
важнее еще сделай,
чтобы не просто жилось в досталь —
чтоб больше и не хотелось.

А потом слышит: мол, не о том,
ты не поняла просьбу.

Пусть без меня не живет вообще,
коли решит — врозь.



*«Кнесинка загадала: поймает - значит, все же что-то
вмешается, спасет ее от ненавистного брака».*

Мария Семенова «Волкодав»

В списке потерь он — главная единица.

Голубь взвивается ввысь, он теперь синица,
что из ладоней ласковых к журавлям;
и ни к чему тепло ему и земля,
и ни к чему оковы ему любви; и
были покрепче цепи, и те — рубили.

Голубь взлетает, сердце уходит тоже,
добрым клинком выпадая, предав, из ножен
жарких, горячих, где билось с надеждой в такт и
верило крепко. Да только поглубже шахты
кто исходил, в сердечной плутать не станет.

Птица победный свободы танцует танец,
ивовых прутьев клетки оставив стены,
крыл тихий шорох — стрелами под колено
бьет, отнимая силы держаться прямо,
но себя держишь, удерживаешь упрямо,
разве что глаз упрячешь мольбу немую.

Воздуха птице под крылья ложатся струи,
прочь унося хорошие для всех вести,
только они нерадостные невесте,
что провожает голубя лёт и плачет.
Только все это уже ничего не значит.
Встанет назавтра, что от нее осталось:

двух век опухлость, губ, что кусали, алость,
чтоб не позвать того, кто всех больше нужен,
что ни любимым стать не сумел, ни мужем;
в кнесинки жизни ни правды нет и ни правил.
А кто хранить ее взял — всех больнее ранил.

Как Алену вывели из воды

Алёнушка, сестрица моя!..

Выплывь, выплывь на бережок...

Как Алену вывели из воды, в доме стало только мрачней, чем было. У Алены бело, как мел, лицо, у Алены сердце давно застыло — что ей муж, глядящий во все глаза, что ей брат, сумевший спасти сестрицу? Ей туда б, обратно, где мать-река протекает, миру живых границей сберегая тех, кто уснул на дне. Вот, где дом Аленин, где братья-сестры.

Как Алену вывели из воды, так взгляд стал Аленин и злым и острым, голос же медовым: зовет с собой проводить на реку, достать ей лилий, и река смеется, плеща волной, и зовет уснуть в своем мягком иле.

Как Алену вывели из воды, ни житья, ни счастья – все поисчезло. Не дозваться брату сестры родной, не спасти

любимую, бесполезно: с кем однажды мир тебя повенчал, с тем тебе вовеки пребыть и присно. У Алены только одна печаль: как себя спасти от постылой жизни, как унять тоску свою по воде, как сбежать, где взять бы тяжелый камень, чтобы не поднять никому из тех, кто ее вернул живым против правил, кто отнял покой ее, тишину, кто забрал из дома уже родного.

Забирай, Иван, у своей сестры воздуха загрудного цепь-оковы, что сплели вокруг сердца ее, как сеть, нежеланье жить, как в клети горлице. Не держи Алену среди живых, отпусти на реку домой.

Топиться.

В замке толстые стены

В замке толстые стены, слуги без языка,
в замке мрак непроглядный — так замок скрывает тайну.
Шелест платья ее слышно много издалека,
когда в полночь свою она покидает спальню,

стук ее каблуков раздается, как сучьев треск —
так растет пламя вверх на костре богомерзкой ведьмы.
Она входит в подвал. Факел в тонких руках чадит.
Раскаляется из железа в жаровне плетъ.

Прежде чем петухи запоют про четвертый час,
десять страшных полос на тощей спине оставит
она платой тому, кто ведьмой ее назвал
и ее невиновную на страшный костер отправил.

Кто в коричневых глазах нелюбовь разглядеть сумел,
кто насильно любить себя не сумел принудить,
и плевать стали вслед ей, детей и себя крестя,
с его легкой руки живущие рядом люди,

окна бить, скот травить, обвинять ее в колдовстве,
что творит она ночью, едва занавесит окна.

Отомстила она, оправившись от огня,
заявилась к нему в ночь темную на порог.

Предлагал жемчуга, камни, мех и заморский шелк,
предлагал слуг десяток и дом на границе моря,
а ей слез его нужно было — лицо умыть,
обожженное тело вылечить его горем,

его криком напиться, кровью его омыть
каждый шрам и ожог — долги платежами красны.
И с тех пор обагрилась предательская спина
страшным красным узором с ожогом поверх не раз.

И с тех пор в замок черный, упрятанный за скалой,
не заходит живой и рядом не огибает,
и о замке идет по миру с тех самых пор
как о проклятом месте слава по ртам дурная,

мол, там в полночь идет коридорами, да в подвал,
дама в платье кровавом, уродливая при свете,
и похож на треск веток стук ее каблуков,
и на вопль истошный — свист ее тонкой плети.



Ангел-хранитель

Ангел-хранитель бывает хреновым,
тебе же достался совсем поганым:
в ладони берет мелкой-мелкой соли
и тянется ими
к ранам.

Поводит лопатками — там обрубки
от крыльев, что списаны и отняты
за все, что наделал, не признавая
себя в этом
виноватым.

Герои, геройство - слова пустые,
не смог выйти белым, золой чернись и
не думай, взгляд в небо порой бросая,
о той недоступной
выси.

Твой ангел-хранитель в охране плох и
он много не спас, того больше — рушит,
но ты его имя в молитвах шепчешь,
свою ему вверив
душу.

Приводит однажды: ворота, перья,
от нимбов — в глазах до боли.
Но ты понимаешь, что вас обоих
не пустят.
И не откроют.

И ангел твой странный, калека-ангел
за отнятый рай в ответе.
Но ты не берешься отстроить новый.
Сожжет ведь.
И не заметит.

Осознай же, мой сын, невинные не горят,
на них милостью Божьей тут же искра затухнет.
А она — сам огонь, в глазах ее злые угли.

Помолись же, мой сын, чтоб грех обошел твой дом,
чтоб во снах ее губы жаркие не касались.
Здесь синонимом слова "грех" воцарился Салем.

Подчиняйся, мой сын, кресту да страницам книг —
не глазам, рту и бедрам, и ты избежишь проклятья,
избежишь преисподней сжигающего огня.

Но глядит преподобный мимо святых икон
и молитвы слова звучат для него неясно.
Его Бог теперь — пламя сжигающих, черных глаз.

Для него теперь Рай — объятия рук и губы,
и тесна удушающе-чистая ткань сутан.
Огонь ест его тело и не оставляет ран.

Заговаривай

Заговаривай зубы своим колдовским враньем,
только сердце, в груди стучащее, не твое,
только душу, что богу подана, не отдам.
Она смотрит, глаза ее синие, как вода.

Не пытайся — поддаться жалости не в чести —
разговорами да словами не увести
мои мысли тебе, стоек я охранять свой пост.
Рассыпает плечами огненность пышных кос,

изгибается кошкой, райской ползет змеей
ко мне по полу клетки. О боже, спаси ее
душу грешную, падшую! О боже, спаси мою!
Я в ее жарком пламени тела и губ горю

и не помню себя; нить крестовая рвется враз,
подчиняясь сиянью ведьминских синих глаз.
И кто мать мне, отец, кто мне царь был и кто мне бог,
я не помню, как пес, восседая у белых ног.

А наутро приходят люди, схватив толпой,
волокут в центр площади, где до небес огонь,
и кричит всяк: "Подохни!" и каждый в лицо плюет.
Я горю, и глаза мои синие, как ее.

Синь

Ведьма, как крыса, рыла к тебе ходы
и пауком проникала в дома людей
лишь бы узнать, сердце жжется твое по ком,
лишь бы увидеть — и стать лицом схожей с ней,
чтоб увести по соцветию летних трав
прочь за собой. Ты сидел возле ног, как пес.
Глядя тебя, одурманив тебя собой,
ведьма впервые распробовала вкус слез.

Месяцы шли, ночь укачивала восход,
алой зарей украшавший прошедший день.
Ведьма не прятала дьявольских черных слез,
ведьма молила бога, звала чертей,
чтобы забрали прочь от нее того,
за кого душу когда-то сдала тому,
кто обратил ее счастье в тоску и скорбь,
дом ее светлый из сказочного в тюрьму.

Кожей иссохла, чтоб милую не узнал,
волосы срезала, не трогал чтоб лаской рук,
дергалась мышью, слышав его шаги,
и волком выла на шорох любой и стук —
злом обернулась любовь ей, что так ждала,
что привела себе в дом, не спросив: "Люба ль?"
Если ты зла, в мире будет тебя кто злей.
Вьешь нить судьбы – в узел свяжет тебя судьба.

Морок сняла, отворила с ворот замки,
в спину ему ветер выслала, чтоб ушел.
Из-за печи мигом высыпали гурьбой
черти лукавые с сожженной ее душой,
что черной тряпкой в ладонях теперь лежит,
а она смотрит в небес ледяную синь,
дико смеется, и слышится в смехе том
страшным проклятьем, молитвой ли слезной:

"Сгинь".

Бьется о черные скалы волнами
долгая память, печальная память.

С памятью этой бродит по свету
девочка-солнце, девочка-лето.

Только в груди пустота.

Майские ночи так жарки, так душны.

Каплями меда по телу, по душам
льется и вьется тугая, как плеть,
женщина-кошка, женщина — смерть
в острых, звериных когтях.

Странникам — путь и пустые дороги,
крепкие нервы, сильные ноги.

Странникам — путь без засад по оврагам.

Странникам между собой бы расстаться,
так, чтобы друг, а не враг...

Пулям — пересечься.
Звериною шерстью
вздыбиться колом,
почуяв знакомый
зов, а не страх.

Веками ведомы,
судьбой непреклонной
снова сойтись,
чтоб остаться знакомой
водой на камнях.

Кошке — жара, кошке — ласка в ладонях.
Девочка-солнце греет покорно,
помня, что это на миг.

Силе — избранники,
чувствам — изгнанники.
Кошкам — пустые кошачьи свиданья.
Девочкам — тайны из книг.

Он спросил твое имя?

Он спросил твое имя, когда танцевал с тобой?
Он узнал, как найти тебя? Нет, он молчал, как камень,
разжигая своей красотой этот злой огонь
у служанки в душе, что однажды пожаром станет.

Он узнал о тебе ну хоть что-нибудь? Нет. К чему
ему знать гору фактов о ком-то, с кем встреча — случай?
Это он для тебя яркий светоч твоей судьбы,
это он – светлый сон, дар небесный для невезучей,

грустной маленькой дуры, пошедшей на поводу
романтичной и глупой феи и ее сказок.

"Верь в мечту — и исполнится" — яркий такой девиз.

Только жизнь быстро учит взрослеть.

И не верить фразам.

Крапива не жжется

Крапива не жжется, не колется, не горит
по тонким рукам вдоль тела, как ветви ив,
висящим безвольно. Ткала, да не доткала —
отнялись уставшие пальцы, заранее все решив.

Завыла спустя года молчания: зря, все зря!
Глаза потускнели вмиг, закушен до крови рот.
Пыталась, пыталась, но рубашки не довязать —
коль не был ты в ней рожден, она тебя не спасет.

Высокий держит забор, такой бы лучше костер:
шагнуть в него — что ей жизнь теперь, коли не спасла?
Одиннадцать комьев холодной сырой земли.
Одиннадцать птиц, взмывающих в небеса.

Отдай меня

Отдай меня, пока крапива пальцы
не тронула, их нежность выжигая.

Элиза, ты от горя неживая!..

Отдай меня, пусть эти крылья птичьи
несут куда подальше — прочь от боли.

Элиза, мы давно не одной крови:

тоска по небу в сердце затаилась,
она клеймом горит на белой коже.

И ты спасти от этого не можешь.

...

Элиза плачет, улетает прочь
хозяин в небеса на крыльях птахи
одиннадцатой маленькой рубахи.

Мальчик Оливер

Мальчик рано взрослеет, меняя лицо на маски;
проходящие мимо люди глядят с опаской, в этом ангеле
божьем чувствуя червоточину. Мальчик вырос в
жестокости, мальчик не мягче прочих.

Злости больше, чем веры в светлое утро завтра. А на
завтрак, да как обычно, вода на завтрак, сахар лжи на
обед, соус желчи на скудный ужин: мальчикдохнет, как
сотни прочих, ведь он не нужен без монет по карманам,
без имени и без званий. Их таких сотни тысяч, которых
никто не знает, их таких миллионы — ртов, что о хлебе
молят.

Мальчик Оливер знает все в свои семь о боли.

Мальчик Оливер знает больше в без двух дней десять. И,
воруя платки, бога молит, авось повесят: это значит,
пока в тюрьме будешь ждать — быть крыше. Говорят,
тех, что вешают, ростом они повыше вмиг становятся, и
их бог наконец-то видит. И дает в небесах, чем при
жизни земной обидел.

Улыбайся

Улыбайся, Джесси, миру грядет конец.
Улыбайся, Джесс, ты вряд ли ему поможешь.
В зеркале близнец, послушный и непохожий.

Улыбайся, Джесс, пусть рушатся города,
пусть в твоих руках они оседают прахом,
Тебя нет в себе, а значит, ни слез, ни страха.

Улыбайся, Джесс, ведь после нагрянет боль,
когда вдруг отпустит чужая и злая воля.
Много боли, Джесс, нагрянет так много боли,

что ее унять, утешить ее сумеет
год займет едва ль. Не вылечить боль такую.
Если не сvezет, всегда есть висок и пуля.

Нам с тобой не нужно общего на двоих,
потому что отрывать придется заживо до кости
то, что въелось, и со шрамами дальше жить,
эти шрамы не затянутся от "прости",
что прошепчешь миллионы бесчисленных раз,
глядя в небо до уже не позорных слез —
кто не плакал в этом мире, тот просто мертв.
Впрочем, я к живым с натяжкой б себя отнес:

растерять себя по ставшим родным частям,
видеть смерть и замечать у нее твоей взгляд
равносильно подниматься на эшафот,
становясь бок о бок с теми, кого казнят,
и, деля их боль на два, и еще на два,
и еще до бесконечности поделив,
просыпаться на рассвете и понимать,
что ты сдох так много раз, но зачем-то жив.

Иди через лес

Когда ветви бьют, как плетками, по лицу, когда грязь, как капкан, заставляет увязнуть в ней, не сдавайся, не плачь и, взывая к своим богам, продолжай идти дальше через этот проклятый лес.

Когда где-то раздался шорох, иди вперед, заставляй свое сердце ровно стучать в груди, зажимай в руках крестик, нема будь и будь тиха.

И, пожалуйста, иди через лес. Иди.

Потому что, как только замрешь, то, считай мертва, и багряной от крови станет кругом трава. Ты не верила в сказки, что в детстве читал отец, сожалея же сейчас, оказалась что неправа. Сожалей и иди через черный и мрачный лес. Ни на миг не посмей запнуться и сбавить ход.

Потому что оно почует твой дикий страх, и отправится следом, и вскоре тебя найдет.

Потом не плачь

Осознай, чего хочешь — получишь. Потом не плачь.

Озверев от потерь, изнывая от неудач, прячешь скудную прибыль в карман, где звенят долги. Принц прекрасный и сказочный все твои "помоги" игнорирует стойко, ему бы плясать и петь. А работать не царское дело, его тебе выполнять за двоих, снимая с ушей лапшу.

Говоришь, ну же, Господи, о многом ль тебя прошу, не карету и замок, а хлеба бы на столе, не камней-самоцветов и не золотых колец, дал работы б побольше — ведь знаешь, что не страшусь, от зари до зари, согнувшись, как вол пашу, пока этот, целованный, лягушкой по кабакам с утра до ночи прыгает. Такой бы судьбы врагам не желала, сама же такой живу. Взял бы девку из царских, так нет же: беру жену из простых, где любовь, там забота, совместный и быт и труд.

Юбки старые рвутся, а туфли ужасно трут, намазаны пальцы. Забитый усталый взгляд. Она больше не рада, да, впрочем, и принц не рад, а деваться куда — держит клятва и колдовство. Жизнь из сказочной быстро стала для них простой, серой, скучной, тяжелой, но ею придется жить: их до смерти до самой магия сторожить будет денно и ночью. У сказки недолог век.

Это знает любой ей веривший человек.

Новорот

Это дурная сказка. Мы ее перепишем.

Каин не поднимает руку, Герда не ступает на крышу, змея помогает Принцу раньше, чем объявляется Лис. Холден подходит к обрыву, не боясь, что сорвется вниз.

Русалочка вместе с сестрами провожает корабль ко дну. Мерида берет и сбегает, не пугая зазря: "Сбегу!" Никто не страдает лишнего, никто не страдает пустого. Волдеморт, убивающий Поттеров, не возвращается снова.

Видишь: жизни налаживаются, пусть огромные с виду потери? Мы спасем всех их и каждого.

Мы сумеем.

Сумеем.

Верь мне.

Мы сумеем. Верь в одиночество, верь в свободу людского сердца. Анна не бросается следом, не возвращается Эльза. Венди плюет на все и остается в Нетландии. Один делит любовь поровну между братьями.

Видишь? Один поворот, один поворот сюжета. И нет никого, кто мог бы за такое призвать к ответу, потому что мы не нарушили ни ход жизни мирной, ни судеб. Где-то убыло – где-то прибыло.

Всяк смирится. На то и люди.

Джульетта любила бы Ромео без переднего зуба?

Нет. Но душа его была бы все той же.

"Влюбленные"

Представляешь...

Эсмеральда лезет на крышу и находит там Аполлона.
Что ей Фебус, любимый всеми, если с песнею
колокольной к ней нисходит из Рая ангел, Нотр-Дама
прекрасный стражник? Горбуну быть вовек ненужным,
потому родился страшным.

Как бы ни был Ворчун жестоким, как бы словом ей не
перечил, не сменить, если хочешь, внешность даже ради
любимых женщин. Можно мягче быть, чуть добрее,
можно меньше дерзить, быть рядом... Принцам в замок
вести Белоснежек, гномам их провожать лишь взглядом.

Можно верным быть ей и нужным, можно жизнь отдавать во имя, только, слышишь, на волю рвется из груди ее чье-то имя, и оно не твое, ты знаешь, пусть ее осуждаешь выбор. Даже люди любви русалкам, если верным рожден, но рыбой.

За сестрой переехать в замок и о принце рыдать ночами, но никто вокруг не заметит, как уродливо от печали лицо кривится лишь сильнее, ведь и так некрасиво вовсе, а что прежде сестры влюбилась, разве ж кто-то об этом спросит? Много лет не спала, мечтала о той встрече, что все изменит... Мать права была: некрасивым только власть прибавляет цену.

Сколько сказок пошло б иначе, сколько счастья бы написалось, только, бедным им не случилось в жизни счастья и не досталось ни судьбы изменить волшебю, ни помощницы – крестной Феи. Дав совет: "Не люби за внешность", сам же пни себя.

Лицемеришь.

Добрые истории

Золотая рыбка на деле пылью золотой покрыта — так больше в тренде. Мальчик выбирает того же пола друга, забывая малышку Венди. Гарри отправляется по контракту воевать куда-то, где пыль и жарко, возвращаясь, молча стреляет Лорда, рассмеявшись магии тонкой палки.

Джейн ломает спину — гнила лиана, и Тарзан из жалости добивает. А принцесса, в лебедя превратившись, мчит по следу преданной птичьей стаи, отказавши людям. Русалка плачет, глядя, как принц тонет. Найдется новый. Чип и Дейл наврали, что всегда рядом, санитары все же быстрее на "скорой".

Люди любят сказки — а кто не любит? — а реальность мало кому по вкусу. Но ты верь жестоким и мрачным сказкам. Добрые истории пишут трусы.

Сказки

А русалка... Ну что русалка? пеной бьется о берега, а Принц счастливо живет рядом с той, кто искренне дорога, с той, что ласкова и прекрасна человеческой теплотой. Это в сказках бывает глупых: рыбы, ведьмы и колдовство.

А служанка... Ну что служанка? Изгорбатилась, моя пол. А невеста принца красива была в церкви, и королем ставший принц был иных прекрасней — ровно Золушкина мечта. Это в сказках бывает глупых: бал, кареты, часы, хрусталь.

А принцесса... Ну что принцесса? Не проснется, отравлен кто. Правит мачеха государством прежестокоей своей рукой. На вопросы "Кто здесь милее?" промолчит черный дух зеркал. Это в сказках бывает глупых: оживать на чужих руках.

Башни прячут того ребенка, что поранился об иглу, что не выросла дивной розой, что не просто легла уснуть. И бездетная королева, и скорбящий седой отец... Только в сказках, убив дракона, можно ждать пресчастливого конца, только в сказках спасают принцы, феи-крестные всем дарят, только в сказках любовь такая, что умеет всегда спасать, побеждать, уничтожив злое силой верности и любви.

Только в сказках счастливых двое.

Ну а в жизни увы.

Увы.

Обли

Спотыкаясь и падая, Эльза приходит к Каю, понимая,
что мир не такой, а она — такая.

Смотрит: руки, как лед, лицо белое под стать мелу.
Кай не тает от страсти, но просит стать Королевой.

Задыхаясь от боли, истаяв в дрожащий воздух,
покой ищет русалка среди вековых звезд,
у второй до рассвета свой дом обретая снова.
Мальчик юн и беспечен. И любит ее с хвостом.

Убежав на край света, застыла, как столб, у края,
понимает Мерида: дальше не убегают.
Принц подходит неслышно, зовет на свою планету,
и змея ползет ближе, слыша ее ответ.

Одурев от потерь, обезумев под тяжким роком,
он решает остаться слабым и одиноким.
Шрам горит, разжигая решимость в зеленом взгляде.
За спиной цветет рожь, кто-то мягко толкает сзади.

У них нет ничего: ни царства и ни богатства, только
боль, от которой жизнь-то не дорога;
и справляется с нею всяк, как ему по силам.
Но терпеть ее больше, милый мой, не проси.

Современные нимфы

Современные нимфы в серых живут домах, исчезают в подъездах, как, впрочем, любой из нас, и узнать их трудно, спрятанных в клеть квартир, в своих скучных жизнях несказочных, без прикрас.

Так дриады ныне экологи, но их пыл и работа редко спасают любимый лес в этом мире денег, где сел, там и не прошел дальше метра в жизни — и тут же, ругаясь, слез. У наяд проблемы с сантехникой, ЖКХ, пепельный цвет кожи, с фильтрами нелюбовь. И живут хреново, будем уже честны, бедные лимнады — хранительницы лугов, чьи дома убиты асфальтом.

И этот мир, где нет места сказкам и чудесам, зиждется на силе nereid только, ореад, что еще владычествуют в местах, куда человек пришел, но завоевать не сумел все полностью, однако, сумев сломать.

И рыдает, стонет века земля — дочерей жалеющая их мать, что глядит за ними землей, и из-под земли прорастает травами, ветвями ее длань. Гейя, что ты чувствуешь, когда своим дочерям шепчешь на руках твоих умирающим: "Не восстань, не вернись, любимая, сюда, где тебя не ждут, не вернись, прозрачная, в мир, где лишь зло и боль".

Нимфы умирают в серых, пустых домах, выпитые жизнью. Как, впрочем, из нас любой.

Говорит, вы солдат, и сразу ботинки давят,
покрываясь дерьмом и грязью, мочой и кровью.
Я вернулся оттуда, где долго не выживают,
но вернулось ли с этим телом что мяса кроме?

Я вернулся оттуда, где глушит малейший шорох,
но в тиши и безмолвии трусишь куда страшнее.
Уходил туда с честью, совестью и отвагой,
с душой, верящей в правду. Расстался там быстро с ней.

Говорит, вы солдат. Рассвет, разливаясь кофе
в горле, руки пускает в тремор: он слишком алый,
он касается пальцев и красит их в цвет, который
я забыть не могу, как часто б ни отмывал

мылом рук, душу — виски, бурбоном и крепкой водкой,
себя — клятвами, что война — дело дней минувших.
Только в зеркале призрак, бледный и недвижимый,
неспособный жить дальше. Он знает, не станет лучше.

Ты встречаешь их вновь множество лет спустя,
спотыкаясь на их внешности и лице,
замечая равнодушное про себя:

скольких я уже разглядывал сквозь прицел
таких лиц и все и каждое как одно?

Да, я знал его когда-то, но брату брат
всяк другому, пока дуло не тычет в лоб,
пока ты обычный парень, а не солдат.

Говорит, ты изменился. Смешок душа,
понимаешь, что тот прежний давно уж мертв.
Средь таких же молодых, что ушли за мир,
но схватили автомат, как настал черед,
научились убивать, научились жить
после, лгать себе привыкнув и прятать страх.
Говорит, ты, друг, вернулся совсем другим.
Говоришь, ты, друг, не знаешь, насколько прав.

Ради тебя

Ради тебя что-то сделать – легко и правильно.
Смотри, окровавленный хожу и израненный,
обвешанный, как гирляндами, к Рождеству
взрывчаткой. Солдат на своем посту;
что ни день, то бой, что ни бой, Солдат чем-то жертвует.
В этом деле нелегком я, в общем, уже эксперт.
Время, силы, в ущерб себе выбор сделанный,
подводящее с каждым делом все хуже тело,
подводящее сердце, сбоящее чаще прежнего.
И неправильная к тебе, психопату, нежность
изводящая; она — сущее наказание.

Я тебе все, что мог, любя тебя, доказал.

Мисс,

сравнить Вас с огнем сжигающим крайне пошло,
не сравнить — оскорбить огонь, впрочем, пламя ада
подошло бы больше — звучало хотя пошлее —
путаюсь в словах, детали на Вас наряда
наизусть уча: три родинки, тонкий шрам,
острота лодыжек, запястий, колен, а скулы...

Мисс,

я знаю много и даже чуть больше фраз,
только вряд ли ими способно укрыть тоску,
превратив ее в другие совсем слова,
измельчив вулкан до крошечной точки свечки.

Мисс,

мне б встретить Вас. Еще один только раз.

Мне б не допустить еще одной с Вами встречи.

В этом доме

В этом доме не заперты двери, и лишь одна
за замками тяжелыми и за засовом в тонну.
Я не трону тебя, лежащего там, не трону.
Выпадая из кадра, падая из окна,
пролетая над крышей, ты теперь только память.
Заперта там, где смог сдержать тебя и оставить,
заперта в глубине, где сам не смогу найти.
Ты лежишь и смеешься там. Ты всегда смеешься;
глаз вонзается в спину тонкое острие.
Отпираю Пандорой страшный греха сосуд
своей памяти, и пространство дрожит чертога.
Я не трогал тебя, не трогал тебя, не тро-
га-
лется черная кровь: ты дьявол, не человек,
и поэтому мертвый живого меня живее;
и ножи твоих взглядов в спине моей не ржавеют.

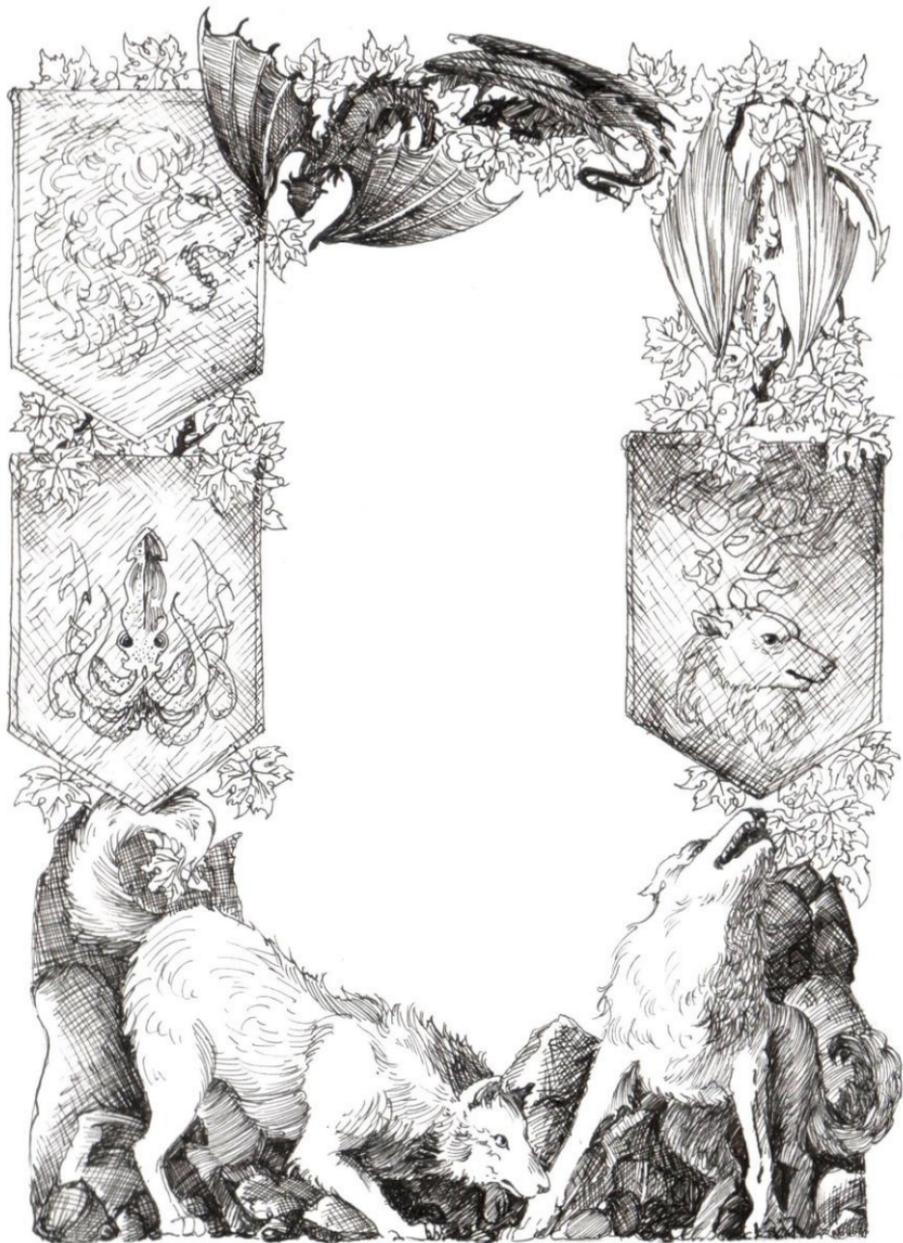
Ты тускнеешь, как фото, тихо уходишь в пыль,
даже пасти газетные больше не точат кости.
Только здесь, в этом доме, ты вечно желанный гость.

Отперев, словно дверь, из ребер груди замок,
проникаешь отравой, по стенам скользишь тенями.
Кто из нас у кого, безумие переняв,

сторожит этот дом, а кто — вероломный вор?
Виски ломит от боли, а горло саднит от дыма.
Мы кладем то, что нас убивает, в свои же рты.

Ты кладешь на плечо ладонь, и она как лед,
впрочем, здесь все, как лед. Как минусы всех Антарктик.
Выпуская собак, твой выстрел гремит на старте.

Выпуская в ночи охоту из гончих стай
своих собственных мыслей, с тобой сторожу рассвет,
и не дай бог тебе там, в аду, вдруг узнать об этом.



Над Винтерфеллом зима

Над Винтерфеллом зима, как саван на теле братьев,
привычная, словно холод без материна объятия,
родная, как крики мертвых, чьей кровью земля сыта.

Плечом становись к плечу,
время
начать
считать.

Первый ушел слугой, второй коронован плахой,
третьего сон увит, плющом словно, липким страхом,
четвертый, как пепел, сед мальчишеской головою.

Плечом становись к плечу,
не
размыкай
строй.

Мечом обрубают нить, что вьет от души к дому,
но в преданности своей, как панцире, будь закован,
носи в себе честь и доблесть, имя своей семьи.

Пока хоть один жив,

он - потомок

своей

земли,

она защитит его.

Лютоволк до конца смел.

Пусть не придет смерть, пока не пуст Винтерфелл.

Пока хоть один жив, карта Севера не затерта.

За мертвого встань живой,

за живого

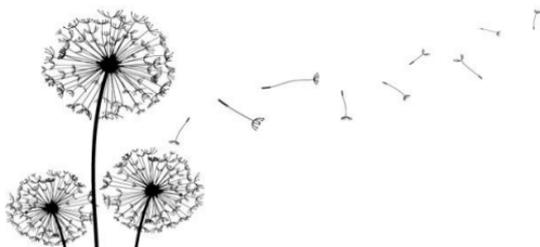
восстань

мертвый.

Он обещает вернуться

Он обещает вернуться, а на плечах
тяжесть такая, что скоро его раздавит;
грудь распирает от сдерживаемых рыданий.
Он догорает. Не пламя уже — свеча,

но обещает вернуться, откуда тут
все еще ждут, хоть ясно двоим: пустое.
Он обещает — по-прежнему тих и стоек —
снова вернуться. И прячет "живым" во рту.



Кхаласар уходит на рассвете.
Отпусти. Дозволь ему пройти.
В этом море из травы высокой
разошлись давно ваши пути:

тебе пеплом выстлали дорогу,
как ковром. Ступай, дитя огня.
Тот, кто рядом был, уже бесплотный
оседлал ретивого коня

и спешит вослед за тихим ржаньем
бога вечных изумрудных рощ.
Ты однажды тоже зов услышишь,
в ветре налетевшем разберешь

и за ним отправишься в те земли,
где Ночь правит много тысяч лет.
Посмотри, в небесном кхаласаре
у звезды его ярчайший свет.

Обещала, что боль отступит, с огнем не справившись,
рекой жгучей внутрь вливалась, спалив до копоти,
но явилась та и растворила в словах отчаянных,
в чужом голосе, зовущем жалобно — птичьим клёкоте.

Поклялась мне, станет небо гореть знаменiem,
солнца диск меня венчает на царство вечное,
только шип застрял в короне, что мне дарована,
тенью путь укрыл мой девичьей, искалеченной.

Говорила, боги сгинули мои прежние
в вечной ночи, что разгонит Владыка истинный.
Только разве та дорога быть может праведной,
где в обмен на милость божью ты платишь жизнями?

Безземельный король

"У вас есть дракон. Он стоит перед вами".

Безземельный король, слетела твоя корона,
и ее унесло старой памяти прочь потоком
в дни, когда кровь врагов растекалась к подножью трона
и дорогой стелилась у юных и сильных ног;

когда слава победная прочь отгоняла стаи
злых шакалов, сражала, била их, как мечами,
а теперь только ветер — единственный,

кто все помнит —

продолжает победно в уши твои кричать,

продолжает дуть в спину, толкая вперед, чтоб крылья
твои вновь, накрывая тенью мир, развернулись,
потому что один путь у тех, кто драконьей крови:

Skorī dēmalyti tymptir tymis, ērinis iā morghūlis.

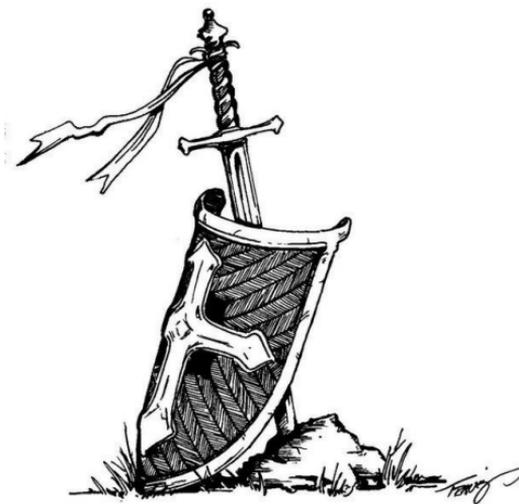
*"Я всегда хотела сражаться за доброго лорда,
но добрые мертвы, а остальные – чудовища".*

Сколько длиться пути? Дали б бой защищать корону,
но вокруг только грязь: то не люди, а так, отребье.
Закаленное верой сердце от правды стынет:
больше нет в мире чести. Чем его отогреть?

Под гипнозом историй прежних надеть доспехи,
очарованной ими спешить, и пускай не рыцарь.
Но все книги твои, рассказавшие эти сказки,
теперь пыль, только пыль от рассыпавшихся страниц.

Время мимо идет, не жалея врага и друга.
Люди спинами к спинам давно не стоят, как братья.
Ты сжимаешь до боли меч, что теперь не нужен,
продолжая упорно обратное себе лгать.

За кого воевать? Клятвы верности – только звуки.
За кого умирать? Тут и плюнуть в лицо жалеешь.
Ты ступаешь дорогой чести и благородства,
но она бесконечна, а латы твои ржавеют.



В Землях Вечной Зимы

Лед блестит и играет на солнце; и страха нет.

В Землях Вечной Зимы мертво все,

так бояться ль смерти?

Кай шагает вперед за белым чужим плащом
и старается думать поменьше о глупой Герде,
о забытом тепле, камине и о руках,
обнимавших давно так, что и приснилось вроде.
Обещала найти, явиться сюда, спасти,
но за Стену никто по воле своей не ходит.

Он ступает на камни белые алтаря,
подчиняясь словам чужим и чужим приказам,
оступаясь, идет: осколок горит внутри,
не дает ему видеть левым ослепшим глазом,
не дает ему видеть правым; тот так горит,
что чужой силуэт расплывается в вихре снежном.
Но касаются пальцы холодной его руки,
и касание болит так, что выходит нежным.

Королева добра, и смерть наступает вмиг,
а потом жизнь врывается в мертвое его тело,
и до девки далекой из теплой чужой страны
ему больше нет дела. Ему было когда-то дело?
Королева добра, она забирает боль,
и любовь превращается в холод, как сотни прочих
человеческих чувств, ему незнакомых чувств —
Королю зимы вечной, ее бесконечной Ночи.



Драконья судьба

«Победитель дракона становится драконом».

Победил двух драконов, третьего не сумел.
Превратиться не смог ни разу, как предрекали,
мол, дракона срази, проклятье его регалий
перейдет на тебя, явился раз, глуп и смел.

Я специально сдирал доспехи и голым шел,
не боясь, без меча кидался, как волк, на зверя,
я хотел победить, желая, не лицемерил,
только что-то не так, быть может, с моей душой,

раз проклятье меня обходит за разом раз,
и драконья душа вселяться в меня не хочет.
Почему только я единственный среди прочих,
и меня обманул предания гнилой сказ?

Третья туша в крови сгнивает у моих ног,
желтый глаз смотрит пристально-мертво,
и режут сталью

крыльев черных шипы, которые не достались.

Я стою и смеюсь: я смог, да, я снова смог,

но драконья судьба прошла стороной меня:

победивший дракона остался, как был когда-то!..

/Только правда стеклом драконьего жжется взгляда:

монстр уже был внутри, и его ни к чему вселять/.

Говорил мне отец

Говорил мне отец: хватит в игры играть свои, бери меч, будь как все, становись на защиту стен. Я не мог, я не мог — было чуждо любое зло, любовь к жизни бежала по каждой из хрупких вен. Он меня не жалел, он ругался, лупил меня, заставлял биться, если не насмерть, но точно до синяков, а я каждый удар принимал, но не бил в ответ, и в тех, кто меня бил, видел братьев, а не врагов.

На селенье мое нападали десятки раз, но никто никогда не сумел его покорить. Говорили, мы варвары, злее нас, жестче нет, говорили, не люди мы — звери и дикари, приходили сжигать, но с небес лило много дней, с грязью кровь тех, кто жег, перемешивалась земля. Приходили убить, но стрелы, что мчали к нам, в их же клетках грудных знаком прочим иным торчат, что нас просто не взять, что нас просто не покорить. Меч был наша защита, нам мать, и отец, и Бог.

Но едва я касался ладонью его, по мне, разъедаая меня, скользил смерти подобный ток, он меня убивал, он меня не щадил, но я до ожогов, до страшных вдоль рук моих волдырей я пытался держать его, только, видать, мой бог битв и воин не выковал меч этот славный мне, нет, он проклял меня.

Год за годом подряд война нас ломала, сломить нас однако же не могла. Как ты справишься с тем, кто вырос в мечтах ступить на порог всех земных, неземных Вальгалл, кто не смерти боится, а стать для других рабом? А я смерти боялся, и меч был мне враг, не друг, и свист мимо летящей, разящей насмерть стрелы для меня звучал ужасом, не песни победной звук — я был трусом одним из десятков других среди нас, я один, только я, но мой бог был, пусть слеп, но зряч.

Моя трусость была вражины любой страшней, моя трусость всем оказалась вокруг палач...

Дом мой пламя не тронуло, до пепла сожрав вокруг всех
и все: мое прошлое, будущее, судьбу. Я смотрел, как
враг бьет не щадя тех, кто не сбежал, как объятые
пламенем сестры мои бегут, но помочь им не мог: меч
по-прежнему жег ладонь, а в ушах звенел голос
отцовский, он бил, как бич. Говорил, я тебя спас когда-
то, и вырастил, и любил, как родного. А должен без
жалости был добить.

...нападавшие знали, где цель и куда стрелять, знали, как
бить, чтоб воинам вылось, как волкам в ночь.

Нападавшие знали, молиться каким богам.

У всех статуй их было лицо, как мое, точь-в-точь.

Победивший дракона

Победивший дракона становится сам драконом — здесь царит непреложный и древний, как мир, закон, но дракон ушел сам, и драконий лишь сын остался, обреченный сидеть на цепи и без права царства, как когда-то отец, не смирившийся с этой ролью, не забравший, уйдя, дитя свое за собой.

В утешение шепчет во тьме золоченной клетки, что неважно, как много пройти должно будет лет, крылья небо затмят, когда он, собрав сил, восстанет, когда все поглотит сжигавшее его пламя, что носил и терпел в себе, яростью иссушаем; горстка пепла на месте, где раньше была душа.

В ожидании триумфа он тратит бесцельно время, он забыть не пытается, искренне, слепо верит, что река унесет предавших тела, не зная, что река, где он ждет, измельчается, иссякает

вместе с нитью, что вьется из сердца к порогу дома,
что разрушен давно, где уже не найти родного:

его след затерялся, не помнит дорога следа. Слишком
много сбежать успело, как сам он, лет.

Кто ушел добровольно, того не зовут пропащим.

Греет лучше огня слепой ярости алый плащ,
и закон вместе с прошлым песком оседает в реку,
а потомок дракона становится человеком.

Трон

А потом трон займет, но не тот, что сгубил всех войною,
и не тот, что спасая, отправил своих на заклание —
трон займет, наплевав на знамена,

 без глупых душевных терзаний,
тот, кто зверем в тени выжидал этот час триумфальный.

Он наденет корону, и пусть она жжет изнутри шипами,
пусть по сердцу проходится правда, что недостойн,
только нет здесь — уже не осталось —

 ни правых, ни виноватых.

Все они, погубив и себя, и других,

 пребывают теперь в покое.

Он сотрет с трона кровь. Сколько прежде на нем сидело?
Сколько дралось, чтоб место занять? Место пусто стало.

Ни к чему теперь жалость, и он оборвет знамена,

он взойдет — и последним оставшимся —

 ступенями пьедестала.

Что теперь вспоминать? Все, кто жаждал,
кто дрался яро,
враг с врагом носом к носу лежат теперь в яме черной.
Если хочешь царить – побеждай и врага, и брата.
По реке чужой крови, смотри, приплыла корона.

Валогалла

Не боялся меча, не боялся копья в груди. Даже братского прежде клинка не по-братски в спину. Не боялся вставать на рассвете, не зная, вернется ль к ночи. Не боялся за жизнь — у других ведь куда короче, чем дозволили жить ему боги с извечного льда глазами. Он в них верил и каждой истории из сказаний.

Я его повстречал не на поле кровавой сечи, был спокоен и благостен светлый, прозрачный вечер. Я как враг с ним на узкой тропе никогда бы не разминулся, я как друг нашел слов для него и души коснулся, и с тех пор по дорогам далеким страны моих диких фьордов мы шагали вдвоем.

Боги горстью ссыпали годы, умирало вокруг все, мы ж делались лишь сильнее. Он в богах был своих так наивно-светло уверен, без щита шел на пики, без крика, сжимая зубы, принимал свои раны, надеясь, что боги судят не по ранам - по доблести, храбрости и по чести.

Мы с ним, если случится, всегда собирались вместе по ступеням Чертога на Одина пир веселый заглянуть отдохнуть. Кто же знал, что случится скоро нам найти туда путь?

Иноземцы чертили знаки и плевали нам вслед, вслед нам лаяли, как собаки, и пинали божков наших, и топтали дар подношений. За такое ни боги, ни люди не смеют давать прощений. И мой друг отомстил. Умер каждый дурной насмешник, лишь один прошептал на издох ему: "Будешь грешник по моей правде совести да по своим законам". Мой друг тотчас добил его, зубы сведя до стона - нож торчал из груди его, и кровь рукоять ржавила. Он пытался подняться, но не было больше силы. Я помочь ему мог, но свои залечить бы раны - чужеземца удар вероломен был и негадан.

Поля битв пред глазами стояли, манили нас – но пустое. Мы погибли, как прежде хотели – вдвоем, нас погибших двое. Не спустились валькирии. Видно, доблести было мало. Я, глаза закрывая, видел двери святой Вальгаллы.

Он, впервые крича, бил о землю рукой ослабшей, не держащей меча, и от этого было страшно. Не спустился за нами никто. Где же шаг валькирий? Где же боги его, на кого мы всегда молились?

Я сажусь рядом с ним, он молчит, и немая жалость — это все, что досталось нам с ним, что ему досталось от меня — не богов его старых, закрывших наверх ступени. Словно долгая жизнь миг последнего преступления не омыла отвагой, не скрасила грех последний.

Он Вальгалле своей до конца оставался верным. Он к Вальгалле своей путь рубил топором и гневом. И Вальгалла манила своим бесконечным небом...

В недвижимости этой мы смотрим в него, но тщетно. И врагов, и свои тела стали щепоткой пепла сотни весен назад, но молчат небеса стальные вечной серостью фьордов.

Просили мы как, молили!..

О твоей златостенной и вечной, святой Вальгалле
нам солгали, мой друг,
нам с тобой
так жестоко
лгали.

*Мы будем молчать, потому что слова
разрывают небесную стынь.*

*Мы будем молчать
и заштопаем небо молчаньем.*

Лора Бочарова

Те, кто учили молчать, когда целят в грудь,
падали первыми, показывая пример:
в прошлом не знали про трусость — но знали честь —
не признавали ни слабость, ни полумер.
Ты, кто клыками гадюки вгрызает в меня глаза,
ты, кто змеей злобной, юркой свила на груди гнездо,
смело иди, и пусть будет тверд каждый шаг.
Ты, кто явилась убить меня, бей, не стой.

Те, кто словами из уст по устам текли,
фразами-стрелами — колчан так уныло-пуст —
сотни назад лет на знание обрекли.
И это знание, которому я молюсь,
выдало мне, что явилась сюда как враг,

правду открыло, что прячешь в рукав ножи.

Эта же правда сказала, что все слова
мягкие, добрые на деле — потоки лжи.

Я это знал, я уверен: я это знал.

Я наперед это ведал, к чему тоска?

Старого демиурга настанет час.

Падает королева, пуста доска.

Те, кто мудрейшим прахом на гладь страниц

буквами пал, научили молчать о зле.

Коль подаешь отравленное вино,

смотри мне в глаза — и ни капельки не разлей.

Северных предков покорный сын

Меня воспитали в северном племени, я был холоду верный сын. Из соседних племен, проложив путь коленами, ползли в царство мое послы. Ни пощады, ни милости и ни жалости — я был истинный смерти брат. Но однажды пожара предвестник искрами вероломно нанес удар.

Из похода далекого и жестокого — крови много лилось врага — мы домой возвращались почти семь дней, кони дошли — решен привал. Мы спустились к реке понапиться влать и смыть кровь с себя, грязь водой. Видно, бога сурового вызвал гнев... наказал он меня тобой.

Изумрудные всполохи да зеленые — все мерещилась мне змея, только прячась оврагами да долинами — до конца я загнал коня — убегал быстроногий и тонкий, легкий, словно птичка. И льду чужак. Это понял я вмиг, повалив его, видя пламя в его глазах.

Он молчал восемь дней, он не ел, не пил, он не спал — лишь шептал в бреду, что недолго моей здесь царить руке, что предаст тут все бог огню, только бил я его, слыша про огонь. Кровь текла, и мой жгло кулак. Я ему говорил, что он здесь неправ, что огонь не в моих богах. Он смеялся, не спал, все ходил вокруг. Тонкий, легкий. В руках кинжал. Я ему говорил: «Нападай, убей!», видя дрожь, что, в его руках зарождаясь, меня задевала вскользь. И теплели мои глаза.

И однажды в мой северный, дикий край вместо снега пришла гроза.

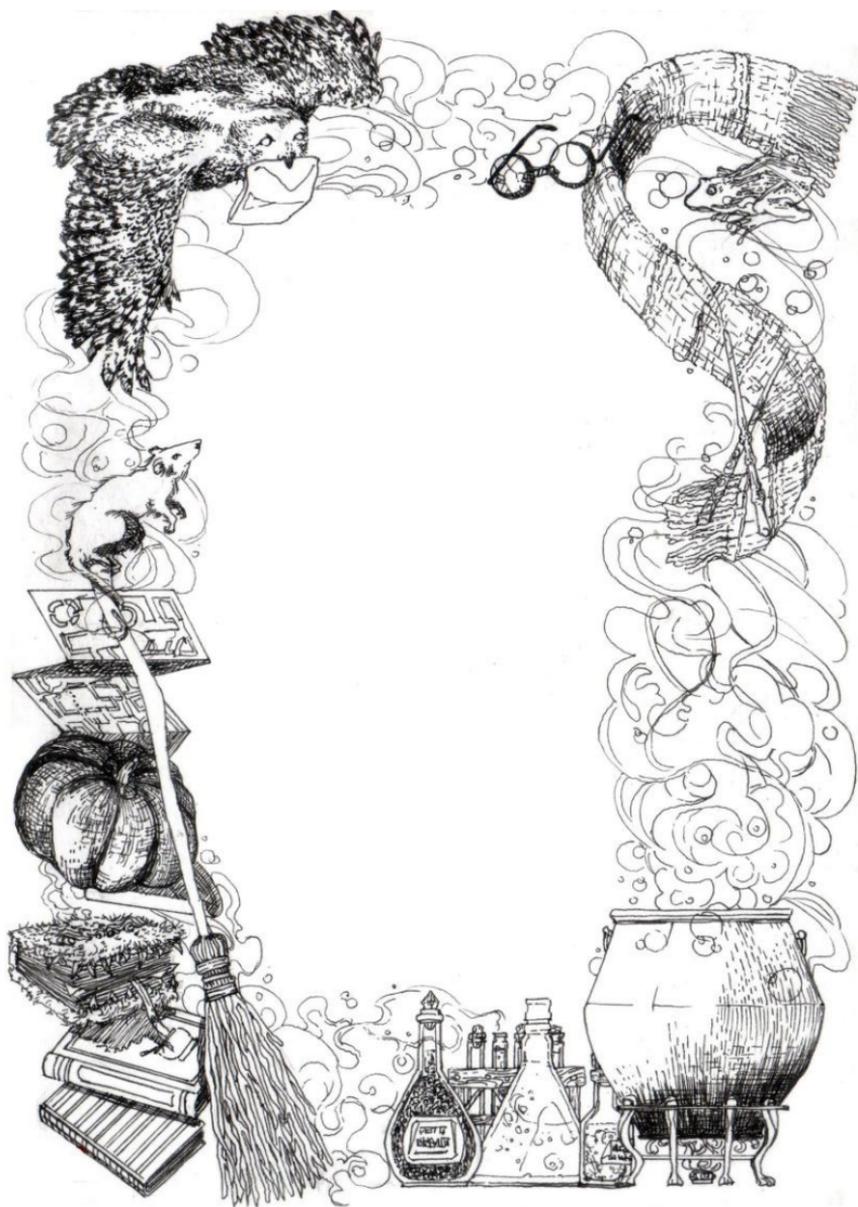
Он смеялся беспечно, я выл, как волк. Люди плакали: знак беды. Я молился богам, только вместо льда небо слало еще воды. А чужак, легкий, быстрый, шептал: «Почти... видишь, тронулся вечный лед». И я вырвал язык ему, убоясь, что он проклял мой древний род.

Он смеялся беззвучно, о, как он жег своим взглядом. Я его бил, а потом сам же каждый лечил удар, яро клялся в своей любви. А однажды он вырезал на скале, что любовь — это *жар* сердец. И я чувствовал жар этот изнутри, и я понял: всему конец.

Я решил его вздернуть, чтоб ветры скальп собой срезали мертвеца, позже сам же и вытащил из петли. По любви жалел подлеца. Только травы зеленые лезли вверх из-под снега. И цвел мой край. Либо северных предков покорный сын, либо... Взгляд шептал: «Выбирай».

Он мечтал об огне, озарявшем все. Он его получил сполна. Все вокруг растопила, не пожалев, от костра для него волна. Он метался, да только кричать не мог. Пламя жадно тянулось вверх. А наутро вернулась опять зима. И укрыл черный пепел снег. Боги быстро вернули мороз и льды: по нутру смерть пришла врага.

Но все чаще и чаще я жгу костры и молюсь не своим богам.



На Тисовой улице

На Тисовой улице без трех минут Рождество,
и маленький мальчик решается вновь поверить...
И входит волшебник веселый и с бородой
в — чужие для мальчика — белые чьи-то двери.

И мигом волшба, мигом магия — улетай!
Метла в слабых ручках не тяжесть, а средство бегства.
Прощайте, жестокие люди, живущие без мечты,
прощайте, о равнодушные по соседству!

Там замок, и лодки, и крыши почти до звезд,
там сладкое слово "дружба" в двух добрых людях,
там будет — не знает он, плохо ли, хорошо,
но все равно, как-то иначе там все же будет.

И громом куранты, и миг — он почти настал —
когда мир жестокий в извечности сказки канет!..
Но тихо, так тихо на Тисовой в Рождество...
А впрочем, как и обычно в его чулане.

Наши совы разбились в пути

Наши совы разбились в пути, их застали грозы,
переломаны крылья ветром холодным встречным...
Ты надеешься, веришь, хранишь в себе это пламя,
продолжая зачем-то наивно его беречь,
зная: цепкие лапки, несущие нашу сказку,
в километрах пути потеряли письмо, разжавшись.
И с платформы девятой и сделай-шаг-прямо-в-стену
ушел поезд однажды, нас с тобой не дождавшись.



Запретный Лес

В темном небе зависла дождливая злая хмарь
и Запретный Лес мрачной тенью лежит у ног,
ты шагаешь в него, и в ладонь твою в тот же миг
мордой острой фэстрал слепо тычется, как щенок.

В окружении смерти ты прочих живых живеи,
осознавший ее слишком рано, лицо в лицо.

В этом мире теней может прятаться мертвой тень?
Чернота обступает плотным тебя кольцом,

и все самое ценное становится пустотой,
а больное — открытая рана — дает дышать.

Серебристую ланю скользит пред тобой во тьме
призрак прошлого, и ты свой ускоряешь шаг.

Ваша хищная статья



Ваша хищная статья, Ваша страсть вопреки всему:
этой маске холеной, до ужаса равнодушной,
этой твердой руке, что на ласку была скупа,
и плечам, онемевшим в приказе пребыть послушным,

как Вы их пронесли, как в итоге Вы вышли тем,
кто, сгибаясь, остался твердым и нерушимым?
Как Вы справились с грузом, который, как сотня гирь,
висел годы, грозясь раздавить вас, грозясь вас
лишить души,

разорвав ее на сотни слабых, немых частей,
что безмолвно послушны безумию чужой мысли?

Что цена Вашей гордости, поднятой, словно флаг?
Вы и сами прекрасно знаете: две драгоценных жизни

без учета своей. Вы б ее разменять смогли,
позабыв мигом кодекс ненужный аристократа,
на монеты, которые, смерти в ладонь вложив,
за их счастье и шанс выжить вышли б от Вас оплатой.

Слишком мелочно все, если фоном всему война.
Вы, на грани играя, честны так, что лицемерны.
И кто может судить Вас: Вы, зная, как высока
теперь жизни оплата, шагаете платить *первым*,

без оглядки на тех, кто, считая Вас по словам
лисьим, кто, вырывая боль Вашу из контекста,
никогда не узнает, что значит Вашей крови
злое и беспощадное
вечно
нести
наследство.

Прощайте, Профессор

Прощайте, Профессор. Над Хогвартсом тишина
такая стоит, что фразами не измерить —
все, лишь бы услышать, как четкий и крепкий шаг
чеканит по плитам сколотым подземелий,

как, пыль поднимая, мантии черной ткань
вороньим крылом зацепит упругий воздух,
как голос раздастся вкрадчивый и густой,
и звук его будет едким, привычно-грозным.

Таким же живым, как был еще день назад
и будет запомнен отныне теперь и присно.
Прощайте, Профессор. Над Хогвартсом тишина
минутой молчания в память о Вашей жизни.

(1946 - Always)

На Кингс-Кросс не заходят, чтоб забрать тебя, поезда.
Все, что было волшебного, пылью осело на пол,
старых мантий потертых вороний крыла размах
обратился в прорехи, укрытые за заплаты —

и уже не взлететь. В белых перьях седой совы
не укрыться полету, а лапам тяжел пергамент,
и письму не достаться ни другу и ни врагу,
независимо от конечности расстояний.

Старый замок под куполом белым сияет, но не живет.
Один взвился — сноп пепла — под небо, другой оттуда,
и история старая, затронувшая вас всех,
вдруг закончилась смертью, а мертвых, увы, не судят.

В тупике, паутиной заросший, скрипит и стенает дом,
там, укрытый от жизни, ты смотришь на юность косо,
потому что эпоха героев, злодеев и волшебства
навсегда отошла в девяносто восьмом с Кингс-Кросса.



Если есть в небе Бог

Это кровь или пот капает? Боль упрятана в тишь за капями, обнуления бритва росчерком судьбу делает вмиг короче, под стекло загоняя холодом.

Мне до жизни живому голодно, мне бы, кроме боли, выдали что-то теплое, но лишь вырвали на живую, не зная жалости. Криосон? Не сравниться аду с ним: все забрав, в гроб кладут покойником. Лучше смерть, чем в таком покое, лучше смерть. Несгибаем волею, по-собачьи скулю и вою, умоляя оставить память, но равнодушные людей каменно.

Если есть в небе Бог и милостив, сделай так, чтоб в груди не билось.

Сколько помню

Сколько помню: открываешь рот — получаешь снег.

Прости мой истерический страшный смех,

просто я захлебываюсь этим холодом

по самый сорок второй.

Я очень. Хочу. Домой.

Сколько себя помню: открываешь глаза —

получаешь мрак.

И кто бы ни подошел, он смертельный враг,

и у каждого, как проклятие, только одно лицо,

и его не размыть свинцом.

Сколько помню: подчиняешься приказам —

остаешься жив,

и так жить проще, правда, чем в старой лжи,

где клянешься до конца быть рядом, всегда и верно.

И дохнешь первым.

Глаза, как стеклянные. Смотришь, и тени прошлого
обретают тело, размалывают в крошево
все, что могли бы выстроить,
выковать,
изваять.

Боль — ледяная гладь.

Боль — ледяной кокон с телом твоим внутри,
я — зевака, шагающий мимо ее витрин,
где ты, не протягивая рук, молишься белым ртом.
Тени твои заходят в меня, как в дом,
тени твои забирают все то, чем жил,
тени твои обтачивают ножи
о кости, неподвластные времени и векам.

Ты молишься, но твои боги теперь — ветра,
череп, в снегах оставшийся, облизавшие до кости.

Тот, мертвый, меня прости.

Как отучиться дрожать

Как отучиться дрожать,
когда день, как удар,
каждый?

Я на тебя смотрю,
изнутри иссушенный
жаждой.

Мне бы тебя пить,
но соленая —
слезы —
жжется лишь.

Ты не щадишь меня,
режешь заживо
теми лицами,
что с фотографий лгут
мне улыбками,
дразня память, и
как это утолить?

Как, ты мне расскажи,
справиться?

Как победить себя,
встать щитом над собой
каменным,
коль, что ни день, —
удар.

Куда ни пойдя —
камера.

Мне не снятся покойники, тревожа своим покоем,
для меня беспокойным, как сотни ночных кошмаров.

Мне двенадцать, ты учишь драться, потом едим
с тобой жадными ртами жареные каштаны.

Мне пятнадцать, и мы сражаемся в первый раз
в подворотне, и первый выбитый зуб, и крови
из разбитых носов лилось, кажется, на стакан.

А теперь ее в снах кошмарных без края море,
и его не пройти и не вычерпать — нет таких
ведер, ложек, ладоней. Ладоней твоих бы ласку.

Мне не снятся покойники. Ты меня стережешь,
обозленного жизнью не травмишь собой напрасно:
ты жалеешь меня. Смеешься, шагая вниз.

Тебе двадцать, семнадцать, тринадцать —

ты юн навечно.

Но меня не тревожь, потому что, совсем седой,
пережив твою смерть, я не выживу после встречи.

Пепел взлетает белыми искрами, воздух рыдает
огненным маревом: перерождение острыми спицами в
сердце солдата, совсем не по правилам, не по уставу и не
по заданию грудь распирает

не

за

ши

ва

е

мо.

В серых глазах одинокими льдинами, бьющими в скулу
наотмашь Титанику, боль расплывается страшными
волнами. Раньше, да, били — настолько (!) не ранило.

Раньше под семь ножевых зашивали, в лед окунали,
будили ожогами, только так страшно не билось под
ребрами, только души эти раны не

тро

га

ли.

Пальцы впиваются в кожу молитвами, до синяков
наиздох болью молятся — и что-то теплое льется в
грудину, где больше лед не морозит, не колется. И по
вискам, не искусанным болью, теплым дыханием
нежность касается. И не по плану их, тех, кто хранил
дальше от памяти, та

воз

вра

ща

ет

ся.

Дарит забвение дням окровавленным, будням,
затопленным в смерти. Приказами больше не движется
существование, больше вы с ним ничего не обязаны,
тем, что внутри, что вовне рвется робкими
недоулыбками, словами про прошлое. Что ждет вас в
будущем? Пока непонятно, но точно хорошее.

Только хорошее.

Вторник наступит сразу за четвергом

Вторник наступит сразу за четвергом,
зима — за промозглой осенью придет следом.

Как и о чем, скажи мне, я должен знать,
если я самое важное на победу

всех и потом променять смог "сейчас и здесь",
выбрав не то, что подарено было богом.

Друг мой порой мне снится. Его глаза
смотрят насмешливо-весело, чаще строго,

реже теплеют: прочней год от года лед,
холод порой прорывается сквозь синь взгляда.

Если бы мне вернуться на век назад,
ты бы остался, клянусь, и живым и рядом.

На твоих фотографиях тебе вечно семнадцать лет,
тебе вечно неполные двадцать, пятнадцать,
двадцать четыре —
не становишься старше, нарушив течение лет —
непреложный закон и проклятие в этом мире.

В твоих письмах нечастых твой запертый
в строчках смех,
твои шутки, твоя поддержка, твои подколы...
и в последнем, что было прислано не тобой,
бесконечный могильной насыпи страшный холод.

Бесконечный непонимания пустой взгляд
на в ладони зажатый ленты обрывок черный.
Бесконечная, незаполняемая дыра
там, где сердце, с тех пор, как мертв ты.
Ты мертвый.
Мертвый.

Привыкаешь к зиме, к осколкам стекла по венам,
привыкаешь к прозрачным, от жизни укрывшим
стенам, изнутри прорастающим инеем,

который теплой рук.

В тишине бесконечный шум поезда, колес стук.

Забываешь о прошлом и будущем. Не тебе выбирать,
кем проснешься, коль выживешь. Лишь терпеть.

Стиснув зубы от боли, рвешь – так сильна – капы.

Что-то алое продолжает полвека на снег капать,

что-то горькое, как вина, под язык улеглось словом,
только в холоде онемел, очерствел. И лежишь сломан
страшно так, что чинить дурака ищи — не найдешь.

Вроде

был один, только он не приходит. Он не приходит.

Приходит, смеется

Приходит, смеется, как будто и вправду жив,
не костью, зарывшись в снег, прозябает вечность,
и нет от улыбки его никаких лекарств,
да, впрочем, не вылечит боль пузырек аптечный.

Расходится в сердце улыбка его, как дробь,
осколками в крови ходит и больно ранит,
но только ни боль, ни желанье ее унять
его не вернут, он, узнав о них, не восстанет,

но будет, как прежде, заглядывать в мои сны,
сидеть черным грузом вины, и, сгибая плечи,
все чаще и чаще, в подушку уткнувшись лбом,
я бога молю, чтоб избавил от этой встречи.

Мне бы оплакать тебя, того юного, искалеченного,
твои теплые фразы, улыбки, прямые плечи
времен, когда не было груза,
к земле тебя пригвоздившего.
Тебя, в своей жизни собственной теперь лишнего.

Мне бы оплакать тебя ушедшего раньше нужного,
выплакать слезы все, омывая былую дружбу
этой водой живой, но все чаще считай что мертвою.
Стоишь — сам своя же тень,
как кем-то рисунок стертый.

Мне бы оплакать тебя, каждую лица линию.
Нас, тех, какими стали. И тех нас, какими были.

Лежит письмо от друга на столе

Лежит письмо от друга на столе,
смеется в каждой строчке, в скорой встрече
клянется и не знает ничего
о тяжести, что надломила плечи,
о боли, поселившейся в гнездо
из ребер слева черной, страшной птицей.
О том, как много дней, не видеть чтоб
его во сне, чтоб не позволить сниться
ему живым, ты не ложишься спать.
Лежит себе счастливое в сторонке,
касаясь фразой "Жди, вот-вот вернусь!"
размытой от рыданий похоронки.

Тихо зашел, усталый и одноногий,
долго глядел куда-то поперх плеча,
и я все понял, в тот миг я уже все понял,
и было поздно просить его звать врача,
и было поздно просить его развернуться,
быстро уйти на новеньком костыле.
Он, изловчась, меня по спине похлопал,
молча достал и мне протянул конверт
мятый, промокший, местами уже затертый,
полный того, что мне не перенести.
Буквы смеялись горько в лицо, и в каждом
слове веселом "Уже не вернусь. Прости"
страшно горело. А после в груди горело –
воздух тяжелый, словно налит свинцом.

Этот пришедший, усталый и одноногий,
вышел скорей, чтоб не видеть мое лицо.

Он был весел и юн

Он был весел и юн, смеялся, но лишь губами —
по вискам в двадцать семь седина такая, что снег темней:
он отдал все, что мог, и все, что имел, войне.

Он был храбр и силен. Теряющий все безумен
в жажде выстелить алый в будущее ковер,
чтоб пройти сумел всякий, ради кого он мертв.

Он был светел и чист: от пыльных волос до пяток,
от крови на руках до пули в своей груди.
Но война никого не жалеет. И не щадит.

В адресата отсутствии письма летят в камин.

Что тебе эти строчки, тысячи этих строчек?

Тишина обращает фразы во многоточия.

Тишина отнимает веру, ее живой

жрут, и клацают челюсти острые — пара лезвий;

и справляться не получается. Бесполезно.

От тебя — пустота. Конверты летят к другим,

стаей птиц грязноперых гнездятся в чужих ладонях,

и надежда под шелест крыл их веселый тонет,

опускается вниз, куда-то за абиссаль.

Хоть думаешь: разве может быть что-то ниже?

И находишь там страх чудовищный:

ты

не

выжил.

Это просто война

*"И хотя я знаю, что меня ждет долгая дорога,
я клянусь, я вернусь домой к Рождеству"*
"I'll Be Home for Christmas" by *Bing Crosby*

Лишь суровее взгляд, лишь прямее ее спина, в
остальном, как всегда, равнодушна, черства, стальна.

Это просто цена — у героя без дна карман: забрала себе
все, не жалея его, война, оставляя ее в снах кровавых до
сбитых рук рыть снег, лед бить и выть, как побитый
зверь. Это просто цена. Когда к дому идет война,
отдавать одного ей не худшая из потерь, чтобы тысячи
спали, и был их спокоен сон.

Я, увы, не вернусь домой, милая, к Рождеству.

Это просто война. Это только один солдат.
И вдова, что стоит у могилы, как на посту.

Я вернусь

Я вернусь почти целым, подумаешь, разок умер —
разве кто-то увидит на сердце моем плиту?
Обещал, что вернусь, так смотри теперь: я иду.

Я вернусь почти прежним, подумаешь, чуть чужого,
разве каждый другому хоть раз не бывал чужим?
Обещай же поверить сказанной мною лжи.

Я вернусь почти тем, который тебе был нужен,
и ты сможешь учить быть им снова. И стать им сам.
Но ты смотришь в меня, и тускнеют твои глаза.

Прочитай меня

Я такой же, как все. Не щади меня, прочитай меня.

Я в себе ношу страшные, темные, как ночь, тайны,

мне от них жарко-сладостно, пожар во мне

сродни адову.

Ты отводишь глаза, не решаясь столкнуться взглядом.

Прочитай меня. Разум книгой простой до глупого:

знаешь, что происходит во мне, когда эти губы

твои алые имя мое произносят, как жжет неистово?

Я хочу тебя больше всего — даже своей жизни.

Я ее тебе дал, даром в ноги твои положена,

мне бы только в обмен шанс коснуться дыханьем кожи

ото лба до колен, от извне — до души твоей.

Ты в меня, я в тебя при рождении еще вшитые,

ближе просто нельзя. Меня рвет от желанья надвое.

Прочитай же меня. Недостаточно просто рядом,

нужно глубже, теснее. Неправильно чтоб до верного.

Ты сдаешься.

Читаешь.

И взгляд твой темнеет первым.



Тишиной, как водой

...и Господь поразил его рукою женщины.

Тишиной, как водой, омывается Ветилуя.

Олоферн губы робкой вдовы целует, и не прячет Юдифь от него ни глаза, ни губы. Рука женщины, может, спасла бы, но сердце сгубит, полюбив не того, пожалев его.

Плачь, долина.

Не смогла твоя дочь Иудифь поступить Далилой, обокрасть на дар жизни того, кто пустил беспечно в свой шатер, кто не спрятал ни сердце свое, ни меч не упрятал подальше, ложась на закате спать. И черный всадник долиной торопится, резво скачет донести весть — не голову — как, покорная Олоферну, Иудифь отступилась, предавши свой город первой, обменяв клятву на расплетенные врагом косы.

Иудифь, были ли добр к царю Иудеи Навуходоносор?

Я искал серебро

Говорит: "Я был смел, я смотрел не как все - под ноги, я смотрел, взглядом жарким сжигая, чтобы не трогать, ему в спину, боясь и завидуя, но больше все ж восхищаясь. А толпе это красный быку: ненавидели, не прощали.

Я Петру говорил, что быть ключником мне от Рая, что, на небо взойдя, буду тем, кто в него пускает, и пороги мои, словно в грешное чрево колья. Будет бог мой и мною, и службой моей доволен.

Я искал серебро, плава в нити его — напиться, чтобы чистой была исцеляющая водица, чтобы дьявола гнать, не пуская по телу жаждой. И увидели это, и вывернули однажды, допытав, доказав не моими словами правду, словно золото, камни и деньги — все это надо моей душеньке алчной, живущей вином и хлебом.

Осквернили, втоптали, смешали с золой и пеплом, не позволили руки тянуть — обрубить грозились. И дрожали от слез моих тоненькие осины, преломляясь, ломаясь, свиваясь в вериги боли. Ей Иуда себя, словно божьим теплом, укроет. С ней Иуде пусть страшно, но менее страшно все же, чем в толпе, рассоряющей сотни историй схожих о предательстве страшном, об ударе кинжалом в спину".

Ветер шепчет иудиным голосом песню свою осинам, на которых иудины руки, как ветки, к земле простерты.

Но Иуда не мертв. В руках бога никто не мертвый.

Моя - олива восьмая

Ты — олива восьмая, растущая в том саду,
где гробница Ее, пустующая столетья.

Я пришел к тебе помолиться, прижавшись лбом,
но ушел, как Фома, что, явившись, увы, не встретил

ту, к которой пришел — только гроб, только белый гроб,
равнодушно-холодный под взглядом, таким же ставшим.

Ты роняешь на землю выцветшие листы,
я себя опускаю рядом душой уставшей,

чтобы вместе с тобой обернуться опять землей,
чтобы цепью ладоней сомкнулся небесный купол
Гефсимании вечной, не прячущей тела той,
что в ответ на молитвы протягивает нам руку,

но слезы не утрет — очистительна сила слез.

Сколько плакалось ей, прежде чем даровались силы...

Я молчу, глядя в небо, и небо глядит в меня,
и касаются лба, словно пальцы, листы оливы.

Не поднимет на Авеля руку Каин

Не поднимет на Авеля руку Каин,
а поднимет, не жизнь потом будет — вой,
потому что последним из всех пристанищ
сердце брата, что сослано на убой.
И оно ярче солнца ему светило
и оно его ночью звездой вело.

Оба брата останутся вечно живы.
Вопреки чужой правде.
И всем назло.

Ты не найдешь ни дома здесь, ни покоя.
Ангелы ходят военным и четким строем,
перья роняя под твердость сапог тяжелых;
в рубище из крапивы всяк наряжен.
Нимб раздражает, цепляясь за белый волос.
Небо как тишь могильная: крик ли, голос,
шепот ли, стон ли, молитва ли - все беззвучно.

В Рай дверь найдешь — не спеши потянуть за ручку.

Ева

Ева, горькие тайны покорны твоим губам,
промолчавшим столетья, не давшим мольбы словам
с них потечь, словно соку? Услышит ли их Господь
и проникнется ль ими, поверит ли им Адам?

Запрещай себе думать о прошлом, смотри вперед
и роняй в почву семечки, возвращая детей.

Обменяешь покорностью долгие им года
у того, кем когда-то, укрытые от смертей,

и болезней, и боли, вы прятались, и ладонь
его теплая, нужная держала в своей горсти.

Ева, выплачь гордыню и вырыдай сонм обид,
и тогда Он сойдет, чтоб обнять тебя и простить.

Он ступал по земле

Он ступал по земле, и ковром расстился путь,
закат флагом взвивался за крепким его плечом,
ветер гимн завывал, бог перстом осенял судьбу,
солнце знак его божеский вычерчивало лучом

на руках его, лбу, на дороге его сквозь пыль.

И вставали рассветы, как воины, вслед за ним.

Ты услышишь истории, многие из них — ложь.

Кто-то скажет: "Он проклят", но мы не поверим им.

Кто-то скажет: "Он избран", а мы лишь кивнем в ответ,
улыбаясь ведущей сквозь ночи его звезде.

Нам с тобой не дано знать, увы, ничего о нем,

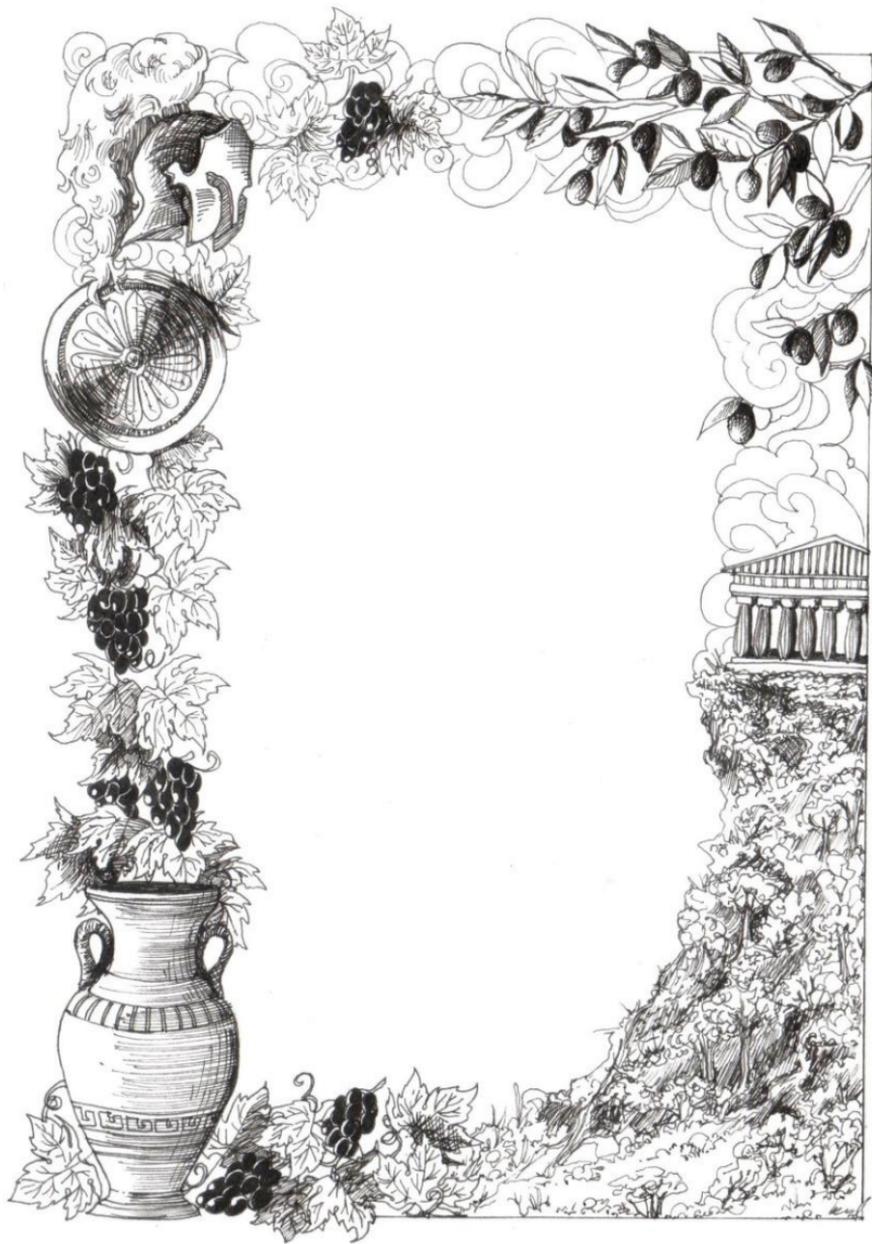
об извечном скитальце со шрамами от гвоздей.

Пап, бросай все

Пап, бросай все, закидывай удочки в рюкзаки.
Здесь ловить больше нечего: нет рыбы и мутны воды.
Да и в общем к чему тебе берег чужой реки,
полной грязи, стекла, прозябания, непогоды,

где присесть у костра равнозначно костер украсть —
здесь не делится больше с ближним ни дом, ни пища.
Посмотри, гладь реки, по которой твой сын ходил,
теперь вся в серебре, здесь не тридцать монет —
их тыщи.

Моя читала на ночь мне сотни книжечек
о далеких землях, холодных странах,
Становились звезды теплей и ближе,
ночь сияла искрами и кострами,
Ироступали буквы старинной вязью,
и твой голос вел меня до рассвета.
А люблю тебя больше легенд и сказок,
больше книг и песен дождя и ветра.



Это был сон

Это лишь сон, где был тысячу раз убит ты.
Эхом давясь, просыпалась в своем дому.
Ночь коротка, колонны плющом увиты
в городе, что через пальцы течет во тьму.
Нынче рассвет так кровав, говорят горожане.
В этой войне ты стал зверем, а был ловцом.
Я так любила доспех твой, и он отражает
Белое, словно из гипса, мое лицо.
Это был сон, теперь я усну едва ли.
Даже при свете здесь не видать ни зги,
я слышу голос его и рычанье стали.
Вот он, и пыль укрывает его шаги,
да, это тот, который повергнет царство,
Что, кроме славы, больше ничто не спас.
Тысячу раз просить бы тебя остаться,
чтобы со стен городских не смотреть на вас.
Я укрываю спину твою молитвой,
только он прав, и холод в его груди.

Это лишь сон, где был тысячу раз убит ты.
Солнце взошло над Тройей. Он здесь. Иди.

Мы еще спишь

*Есть люди, как бы рожденные служить изнанкой,
оборотной стороной другого. К ним принадлежат
Поллуксы, Патроклы, Низусы, Эдамидасы, Гефестионы,
Пехмейи. Они могут жить, лишь прислонившись к кому-
нибудь; их имена — только продолжение чужих имен и
пишутся всегда с союзом «и» впереди.*

Виктор Гюго, "Отверженные".

Проще решения просто нет,
прав ли я буду — узнаем вскоре.
Ты еще спишь, и горит рассвет,
кровью заливший ворота Трои.

так ли цвета его горячи?
Станет ли солнце моей помехой?
Ты еще спишь, и дрожат лучи
на позолоте твоих доспехов.

Участь избравших огонь — гореть,
миг на раздумья, и станет поздно.
Я надеваю чужую смерть,
как налокотник из тонкой бронзы.

Будет ли вера твоя жива
в час, когда болью завоют трубы?
Время молиться, но мне слова
всё не идут на сухие губы.

Да, я отступник, я знаю, пусть —
я лишь тебя почитаю богом.
Я непременно к тебе вернусь,
ты ведь всё знаешь.
Поспи немного.

Пеплом

Мне снилось, что ты стал пеплом, и черный дым
слепил мне глаза и губы мои сомкнул,
да было ли что теперь говорить другим?
Дождь трогал лицо, касался руками скул,
так делал и ты, мы были с тобой одним.
Стал голос твой легким ветром среди ветвей,
и шепотом тихим вереска смех твой стал,
я слышу его по-прежнему, хоть убей.
Но время себя обманывать перестать:
Она увела тебя, я Её не сильней.
Мне снилось, что ты стал пеплом, и твой хитон
повис бесполезной тканью в моей руке,
из звуков остался только скулящий стон.
Шептать оправданья поздние перед кем?
Побудь здесь еще немного, постой, постой,
боль будет потом, безвыходна и остра,
на смену морскому шуму и голосам
остался лишь жгучий дым твоего костра,
он резал глаза и путался в волосах.
Мне снилось, что ты стал пеплом,
и ты им стал.

Я разрушу твой город

Я разрушу твой город, и он падет ниц,
Слушай клятву мою, пока можешь смеяться.
Время вылечит всё, о сиятельный принц,
только мертвым не стоит о нем волноваться.

Я разрушу твой город, услышь и поверь.
Поспеши. И в слепящем полуденном свете
посмотри на жену перед шагом за дверь.
Ты любим ей, а значит, почти что бессмертен.

Обними же отца и целуй свою мать,
словно кровь, страх бежит юркой змейкой по венам.
Я еще подожду, я могу подождать.
Ты не можешь не слышать, так выйди за стены.

Я разрушу твой город, читай же в глазах,
как огонь примет в лапы дворцы и колонны,
И как всё, что ты любишь, опустится в прах,
Обещаю. Мои обещанья — законы.

Пусть пульсирует боль, пусть она горяча,
пусть падет небосвод, хриплым криком расколот.
Ты разбил мое солнце ударом меча —
я разрушу твой город,
твой каменный город.

I see fire

За нами — лишь черный берег и плещет море,
мерцают вдали уютные огоньки.

Из сна и беседы лучше всего второе;
Два года сидим мы возле великой Трои,
и стены ее по-прежнему высоки.

Мы знаем, что наши боги щедры лишь с теми,
чей разум остер и кровь еще горяча,
и незачем в темных храмах сбивать колени.
У кромки воды две тонких смеются тени,
сражаясь на деревянных простых мечях.

Ахиллу семнадцать, он не ребенок — воин,
лопатов касаются волосы цвета льна
и тут же темнеют в брызгах седых прибоя.
Патрокл чуть старше, каждый из них достоин
свои начертать в сражениях имена,

успеть бы заметить, вскинуться, обернуться...
Я дома лишен, за то получив взамен
уменьше провидца (лучше тропы безумца).

Они не вернутся, многие не вернутся,
оставшись под этим солнцем, у этих стен,

но эти — вдвоем, и им ничего не страшно,
сидят у костра, прижавшись плечом к плечу.
Пылают неярко факелы наших башен,
мне двадцать семь лет, я их безнадежно старше
и, может быть, потому иногда грущу.

Пусть нрав у богов коварен и переменчив,
всему имя есть и есть у всего цена,
как бремя у тех, кто взвалит его на плечи.
Меня дома ждет прекраснейшая из женщин,
хотя в ее честь нигде не идет война.

Сейчас на Итаке травами пахнут склоны,
мне думать об этом горестно — и нельзя.
Прибой отступает, тихий и усмиранный,
я знаю, она ночами глядит на волны,
и чувствую, как тускнеют ее глаза.

Выход

Это, сын моря, то, что зовется спесь
и ослепляет ярче любой зари.

Сколько прекрасных юнош осталось здесь,
сколько клялось мне в нежности и в любви.

Что там холодное эхо пустых гробниц
или застывший взгляд ядовитых змей?
Ну же, спускайся, мой легконогий принц,
Встреть свою смерть или то, что грядет за ней.

Слабый останется в вареве темноты,
мудрый увидит свет, поглядев вперед.
Нет в лабиринте монстра страшней, чем ты.
Нас убивает то, чем нутро живет.

Если познаешь, выход найдешь и так,
а ошибешься — выхода вовсе нет.
Я обрываю нить, что ведет во мрак,
и выхожу на берег встречать рассвет.

Верни мне его

Верни мне его. Он кровь мне и он мне плоть,
малейшая боль его — точный по мне удар.
Какие еще сомнения побороть,
какие дары воздать тебе на алтарь?

Вот город стоит, молчанием обнесен —
его принимай, укутай в голодный дым.
Любой, кто над ним оружие занесет —
меня забери, его возврати живым.

Да кто бы ты ни был, слышишь теперь меня?
Развей, прогони голодное воронье,
пускай он придет, ни слова не пророня,
растерянным, злым, забывшим лицо моё,

пускай завершится этот нелепый бой.
Я способ найду собой его заслонить,
я вместо него приму и огонь, и боль,
как лучший удел. Верни мне его, верни,

верни мне его нецелым, больным — любим.
Какой-то равнодушный к несчастным бог
услышит тебя, исполнив твои мольбы.

Тебе возвращают его
и кладут у ног.

Победитель остается один

Через шорох страниц, через тысячи лет,
через всполохи жара и кровь на щитах,
Ты сумеешь, руинам и краху в ответ,
записать свое имя на этих листах.

Это просто, как лиры коснуться рукой,
Просто, как поцелуй перед боем сорвать —
это просто судьба, и мечтать о другой
не умнее, чем слепо себя ей вверять.

Только слышишь — твой крик превращается в вой,
хоть победным огнем и горят города.
Слышишь тех, кто на гибель идет за тобой,
это стоит ли славы? Возможно, что да.

Можешь жить, словно тень, можешь драться, как лев,
выпить жребия яд или жить до седин.
Только помни набатом звенящий напев:
победитель всегда
остается
один.

Ave Caesar

Я всё помню — забвенья даром не наделен,
этот день бесконечно длится, как страшный сон:
кровь на плитах, замах кинжала — и ты за ним.
Боги стонут от смеха так, что трясет Олимп.
С той поры, их покорный воле, не юн, не стар,
я брожу, подставляясь вечно под твой удар.

Посмотри, как безлюден Рим наш, как он забыт —
средоточие праха, серость могильных плит.
Ветер гладит колонны, руки мои дрожат,
он приходит под сотней масок, неся кинжал,
под шагами его расходится время вспять.
Я ни разу не смог лицо его угадать.

Бесполезно бороться, некуда убежать —
нас с тобой разделяет только удар ножа,
рассекает, как масло, холоден и незрим.
Он приходит, мы курим и, как всегда, молчим.
Говорю ему: "Не успел поглядеть Сенат,
в узких садиках зреет солнечный виноград,

Ветер гонит песок, оливы уже цветут.
Я так долго не видел дома, любезный Брут,
как и ты. Ну чего ты смотришь, пошли, давай,
там обласканы морем камни и пляшет май.
Ты предай меня позже, ладно, на пару дней?"
Он смеется, кивает и говорит: "Окей".

Не касайся песка

Помнишь строки, что вам напевала ночами мать?
Кто не верит словам, остается совсем один.
Ты не видишь ни снов, ни причины теперь искать,
Почему эта боль так засела в твоей груди.

Город-хищник, который не выпустит, не отдаст,
Так не будь среди тех, у кого под спиною щит.
Ты молился войне, и теперь у тебя приказ
Выживать до поры, когда будет твой враг убит.

Солнце бьет по глазам, заставляя виски гудеть,
И ревет Колизей, распахнувшийся бездной ртов.
Не касайся песка, даже воздух сечет, как плеть.
Ты сжимаешь кулак, и по пальцам стекает кровь.

А потом будет свет, не слепящий, прохладный свет,
ты увидишь любимых и дом у конца пути,
Нужно только сказать: "Ты прости, что так много лет".
И она простит.

Я оставлю свечу

Лето будет сухим и теплым,
раскаляется солнцем камень.
Среди ночи мне снятся вопли,
но я знаю, ты просто ранен.

Между прошлым и настоящим
речь о том лишь, кто кем был предан.
Я оставлю свечу горящей,
возвращайся домой с победой.

Кто попался в унынья сети,
тот останется просто прахом.
Ты не можешь бояться смерти —
я себе забираю страхи,

Кровью залитый день вчерашний
и разгневанных фурий танец.
Я оставлю свечу горящей,
возвращайся домой, спартанец.

Пусть другие приходят в храмы
и боятся жрецов зломудрых,
Я твои замотаю раны,
я твои буду гладить кудри.

Чтобы были безлюдны чащи,
чтобы стрелы летели мимо,
Я оставлю свечу горящей.
Возвращайся домой, любимый.

Почему не я

Если история — пепел былых веков, я знать хочу, как дети своих эпох не зарекались от плахи и от тюрьмы.

Вскрикнуть бы: господи, ну почему не мы?

Мне восемь лет, пытаюсь постичь войну. Крик, суета, армады идут ко дну, я знаю точно:

если закрыть глаза, то все придут назад.

Мне двадцать лет, я страшно хочу туда, где полыхают взятые города и укрывает раны сражений снег, где не случился хаос и Рагнарек.

В книгах читая о крови и о песке, я ощущаю холод в своей руке, это тот меч, что смертному не поднять.

И говорю: господь, почему не я?

Где-то по-прежнему море несет фрегат, и в лабиринте пальцы сжимают нить. Слышу: им с этим приходится умирать,

Вам с этим — жить.

Смотри, моя госпожа

Он тебе говорит: "Смотри, моя госпожа,
это всё — для тебя, и каждое здесь — твое.
Это тени, смотри, и незачем так дрожать,
ты хозяйка теперь, и дом их — твое жильё.
Это — Цербер, смотри, с клыками острей ножа".

Ты блуждаешь по берегу, в темных твоих кудрях
белых лилий цветы сияют — так любит он.
В эту реку впадают все на земле моря,
появляется лодка, а на корме — Харон,
когда солнца лучи последние догорят.

К вам приходит певец, и голос его, как мёд:
застывают на месте тени в тоске немой,
в чёрных водах ладья до берега не дойдет —
замолкает паромщик и смотрит перед собой.
Адский пёс неподвижен, будто закован в лёд.

"Дай всего, о чем просит, только его не тронь", —
ты рыдаешь, и слезы капаят на гранит,
прорастают цветами алыми, как огонь.
"Отпусти его, помоги ему, ну, Аид?"
Он кивает, легонько глядя твою ладонь.

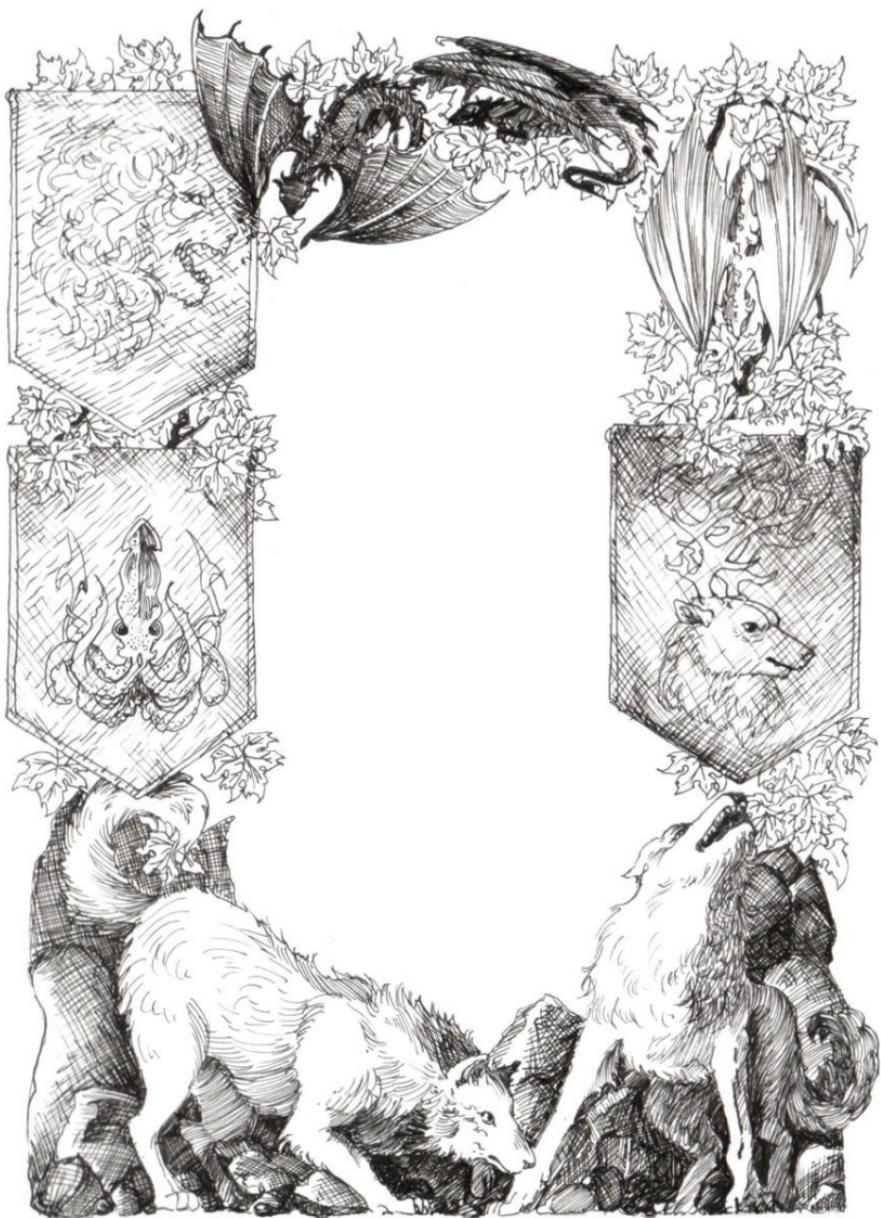
Lasciate ogni speranza

Я уже не знаю, право, я герой или безумец.
Ты идешь за мной, плутая в лабиринте темных улиц,
я так долго видел это, в полусне забывшись хлипком:
ты стоишь в лучах рассвета, на губах храня улыбку,

всё, как прежде. Этот город нарисован черной тушью,
позабудь же о надежде, идиот, сюда идущий.
Я пришел и я надеюсь. Ты идешь за мной, босая,
не пугайся, не исчезну, я уже прошел по краю,

мне ли путаться в сомненьях на краю земного мира?
Без тебя умолкло пенье и затихла моя лира.
Мы уже почти у цели, видишь солнца лучик бледный?
Мне осталось рассмеяться, облегченно и победно,
обернуться, узнавая, и не выдать счастья криком.
Всё закончилось, родная, Эвридика...
Эвридика?





Мне снилось море

Мне снилось море сегодня ночью.
Оно загадки несло в себе
и подгоняло корабль прочный
с огромным кракеном на гербе.

Настало время проверить в схватке,
кто больше честью фамильной горд.
В лесах играет со смертью в прятки
медноволосый прекрасный лорд.

Бежать — нетрудно, смириться просто
тем, кто в предательстве знает толк.
В колючий снег утыкаясь носом,
бежит легко белоснежный волк,

здесь шепчет флейта свои напевы
всем, кто смирился, но не забыл.
Ступает юная королева
с гигантской тенью драконьих крыл,

волчонок прячет талант провидца
от любопытных жестоких глаз,
и смотрит в небо печальный рыцарь,
что короля своего не спас.

Кто станет жизни теперь достоин,
укрыв свой свет от ветров и стуж?
Здесь больше чести, чем целый воин,
вмещает маленький полумуж,

здесь славят смерть в монолитных храмах,
зовут на тысячу голосов.
На непогоду так ноют раны
того, кто звался когда-то Псом.

От зла спасаются здесь кострами,
сияют всполохи на Стене,
и, не мигая, глядит на пламя
фигура алая в полутьме.

Любому ясно, за что бороться,
и каждый в сердце скрывает страх.

Здесь принц драконов встречает солнце,
и плачет арфа в его руках

о всех, чей горький удел — скитаться,
о тех, кто брошен и одинок.

Дитя, что крепко сжимает в пальцах
залитый кровью стальной клинок,

однажды станет большой волчицей,
и будет утро там, где темно.

Мне снова море сегодня снится,
и бьются волны в мое окно.

Ты будешь спать, моя любовь

Наследный принц своих земель невесел и угрюм,
Не радует его ни меч, ни переборы струн.
Как только розовый закат укроет край небес,
Седлает быстрого коня и скачет в темный лес.

Там дева, милая ему, среди листвы поет,
И принц смеется и зовет по имени ее.
Она идет к нему, легко ступая по росе.
Светлей, чем мрамор, лик ее, воды журчанье — смех.

"Ты будешь спать, моя любовь, в постели пуховой,
Ходить в чулках и кружевах, в короне золотой.
Клянусь тебя всю жизнь мою лелеять и беречь,
И защитит от всех врагов тебя мой верный меч".

Лесная дева говорит с улыбкою ему:
"Твоя постель не для меня, и шелк мне ни к чему.
Наряд из листьев я ношу, в косе — цветок живой,
Но если хочешь — будь моим, здесь,
под густой листвой".

Он отвечает: "В три луны даю тебе я срок.
Идет война на мой народ, враг быстр и жесток.
Когда вернусь я, твой ответ подарком будет мне,
Корону я свою вручу любимой и жене".

Проходит месяц и другой, багрянец красит лес,
На земли снизошел покой, разбитый враг исчез.
И скачет конь, в седле своем привозит седока:
Закрыли локоны лицо, безвольная рука.

Лесная дева на траву, рыдая, ляжет ниц:
"Я обещала дать ответ, мой темнокудрый принц.
Ответ готов: тебя ждала я ровно три луны.
Зачем теперь мне кружева, зачем теперь дары?"

С тех пор седеющий туман окутал старый лес,
Ручей серебряный замолк, и гомон птиц исчез.
И лишь под вечер иногда звучит напев простой:
"Ты будешь спать, моя любовь, здесь,
под густой листвой".

Ее целовало солнце

Ее целовало солнце, и я с опаской
его повторял отметины на щеках.
Она не была красивой, но я прекрасной
ее находил, как небо и облака.
Ей жить бы в высоком замке и петь бы птицам,
ее обрядить бы в бархат и соболя,
идти под венец ей надо с прекрасным принцем —
достался ей только ветер, снега и я.
Пусть нам в отреченьи счастье давно запрещено
и в разных богов мы верили до того,
я с ней забывал все фразы своих обетов,
и клятвы мои не стоили ничего.
И даже могильный холод мне был не страшен,
а силы давал себя ощутить живым,
когда я сжимал не меч свой в руках озябших,
а пальцы ее в мозолях от тетивы.
Мы были глупы и верили — обойдется,
что будет весна поющей и неземной.

В ее волосах я видел огонь и солнце,
и вся она стала пламенем да золой.

Как мало

Пусть рог поет, и стрелы наготове,
пусть гимном станет плач и вой разлук.
Престол уже увидел столько крови,
что ты не смоешь с тонких белых рук.

Нам имя есть, могуче и отважно,
но от богов оно не защитит.
Бери пример с меня, тогда однажды
твое несчастье обратится в щит.

Нам мира не спасти гримасой гнева,
хоть ты горда, хоть на язык остра.
О, как же ты прекрасна, королева,
и как же ты глупа, моя сестра.

Кто правит бал, тот и коснется клавиш,
приходит ночь, и не видать ни зги.
Сестра моя, как мало ты оставишь,
когда придет пора платить долги.

The Presage

По ночам ты не спишь, и такая берет тоска,
Что не греют уже ни меха, ни вино, ни любовь.
Здесь не дом твой, надежно спасающий от снегов,
а зима близка.

Облетает листва, быстрый ветер ее несет,
Оставляя леса и сердце таким пустым.
Над границами карты истертой своей застыв,
ты услышишь всё.

Это стая твоя переходит колючий наст,
Это грохот открытых настежь стальных ворот.
Слышишь песни? Под стоны метели поет их тот,
кто тебя предаст.

Не бывать тебе ни государем, ни подлецом.
Не удержит, оскалась трещиной, тонкий лед.
А зима так близка твоя, что на крыльцо встает
и глядит в лицо.

Время моей любви

За что даруют Семеро нам счастье?
Кому-то смех, кому-то мор и кровь.
Была моя любовь весны прекрасней,
Ее лугов, рассветов и цветов.
В вечерний час что быть могло опасней,
Чем с губ твоих пить горьковатый хмель.
Была моя любовь, как снег, прекрасна,
И было нам не холодно в метель.
Мы смертны, значит, многое выносим
За дальний свет в кромешной жадной мгле.
Была любовь прекрасна, словно осень,
Пылала, будто листья на земле.
Пусть тянет пальцы тяжестью эфеса,
Теряющему всё неведом страх.
Клянусь, я помню каждую из песен,
Что ты мне пел с улыбкой на устах.
Когда-нибудь спрошу я тихо: "Где ты?",
И ветер в кронах пропоет в ответ:

"Была моя любовь прекрасней лета,
И волосы ее, как солнца свет".

И станет свет

*Сто дней и сто ночей ковал он третий клинок, и когда
тот раскалился добела в священном огне, Азор Ахай
призвал к себе жену. «Нисса – Нисса, – сказал он ей, ибо так
ее звали, – обнажи свою грудь и знай, что я люблю тебя
больше всех на свете» И она сделала это – не знаю уж
почему, – и Азор Ахай пронзил дымящимся мечом ее живое
сердце. Говорят, что ее крик, полный муки и радости,
оставил трещину на лунном диске, но кровь ее, душа, сила
и мужество перешли в сталь. Вот как был выкован
Светозарный, Красный Меч Героев.*

Дж. Мартин, "Битва королей".

Ночь наступит, к небу прильнут костры,
не уйти от выбора никому.

Как январьский холод, клинки остры,
сможет ли твой меч перерезать тьму?

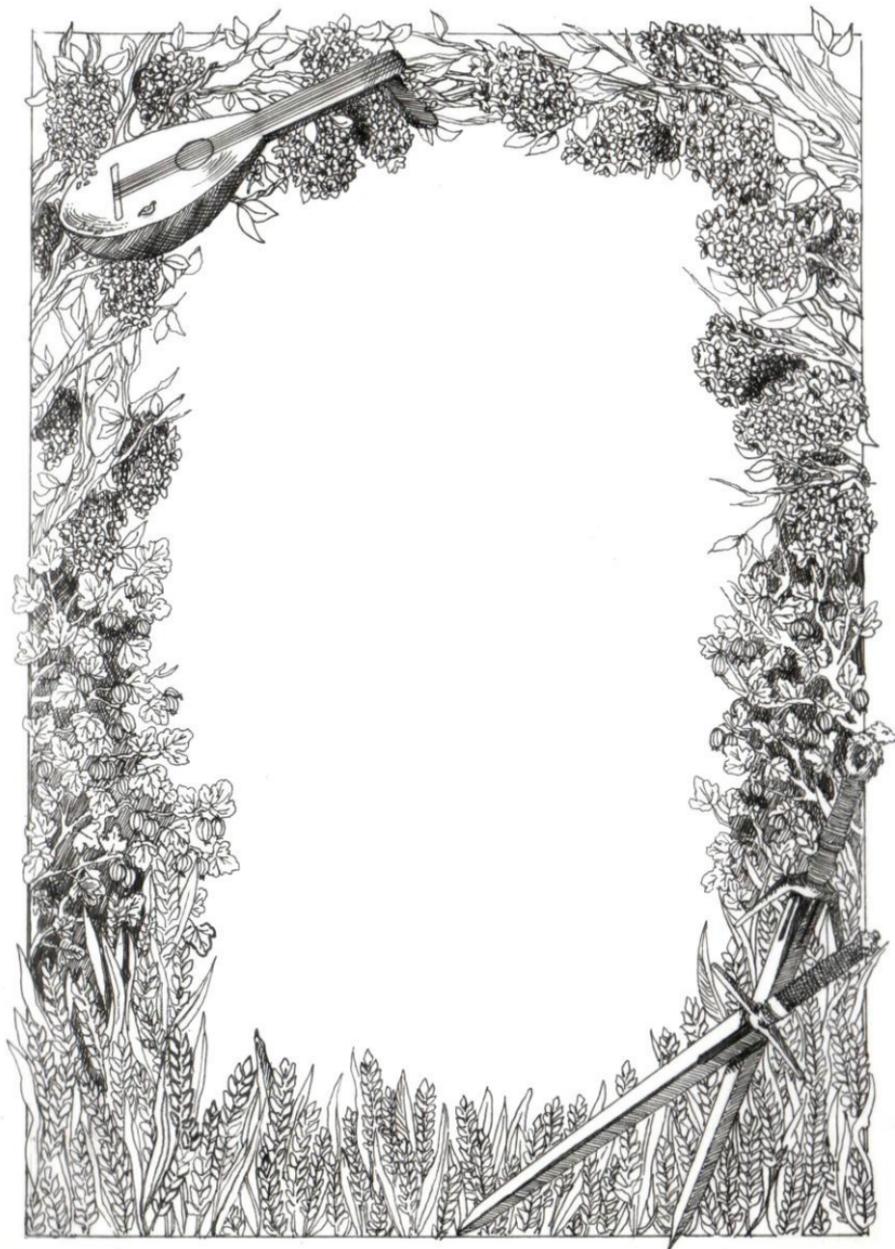
Я не сплю, и мысли мои плывут,
обращаясь мороком над водой,
быть сильнее многих — тяжелых труд.
Всё решится правильно, мой герой:

будешь ты огнем, приносящим свет,
и разгонишь мрак на своем пути.

Твоего клинка смертоносней нет,
лишь осталось ножны ему найти.

Помнишь ли последнюю ты зарю
до того, как день навсегда погас?
Я тебе всю нежность свою дарю,
теплоту улыбок и шелест фраз,

тебе хватит этого. Что ж, иди.
Знай, что кровных клятв нерушимей нет.
Мое сердце бьется в твоей груди,
так не бойся, ну же. И станет свет.



Verra la morte

Придет смерть, и у нее будут твои глаза.

Это будет как порвать с привычкой,

как увидеть в зеркале все то же,

но только мертвое лицо

Ч. Павезе

Это будет лучший из всех концов,

нам давно предсказанный наперед.

И твое лицо — не твое лицо,

а всего лишь контур, и вяжет лёд

эту землю, каждый росток губя,

застигает дымкой мои глаза.

Я смотрел бы сны, а смотрю тебя,

но об этом некому рассказать.

У меча два, сказано, острия,

ты изрежешь руки, как ни возьми,

мы уже изранены — ты и я,

не назвать ни монстрами, ни людьми.

Будь мудрее, сдерживай горький смех,
опускаясь грудью на свой же меч,
потому и ты была ближе всех
от того, чтоб горло мое рассечь,

только мы навеки обречены
друг от друга взгляд оторвать не сметь.
Из твоих фиалковых глаз шальных
на меня насмешливо смотрит смерть,

это чувство душит меня, как сеть,
и ему ни имени, ни цены.

Кто поет о тебе

Кто споет о тебе ломким голосом, чуть дыша?

Будет тихим напев, будет лютня нехороша,

будет имя звучать незнакомое, не твое.

Ты уйдешь насовсем, кто тогда о тебе споет,

как отправишься в путь, унося на плечах рассвет,

За собой на дороге пыльной оставив след.

Кто споет о тебе, чье дыхание задрожит?

Кто позволит тебе продолжать в своей песне жизнь,

кто тебя пронесет, словно знамя, сквозь кровь и ад,

Чтобы имя твоё остальные смогли узнать.

Да, я помню их все — песни давних времен и стран,

песни есть, как вода, что колодезна и чиста,

Песни тихие есть, словно птицы ночной полет.

Ты любую бери, кто её о тебе споет

в час, когда будет пышно и пьяно сирень цвести.

Подобрать ли слова, что сумеют в себя вместить,

как уронишь мечи на землю в чужом бою?

Ты услышишь меня? Не знаю. Но я пою.

Постепенно красится Понтар в алый

Я искал ответа в старинных книгах,
при свечах оплывших читая знаки,
будь прямым и честным, плети интриги —
результат заведомо одинаков:

будешь предан близкими, чужаками,
растопчи — иль будешь повержен наземь,
или выбрось меч, оттолкни руками —
или стань до крови охочей мразью,

говори — и чувствуй костер подошвой,
замолчи — и трусом живи дрожащим.
Я искал ответа в забытом прошлом,
а теперь нашел его в настоящем:

королей от жадности лихорадит,
постепенно красится Понтар в алый,
нас порвут на части забавы ради,
но теперь и этого слишком мало,

то не монстры дикие — просто люди,
а для них давно ничего не свято,
И найдется место ли правосудью,
если брат войною идет на брата,

если жизнь дешевле горбушки хлеба,
если глотки легче рубища рвутся,
здесь никто не может смотреть на небо,
чтоб в крови случайно не поскользнуться.

Я совсем не верю в святое дело
и давно не следую книгам лживым,
у меня нет истины — только стрелы,
но зато все
сложится
справедливо.

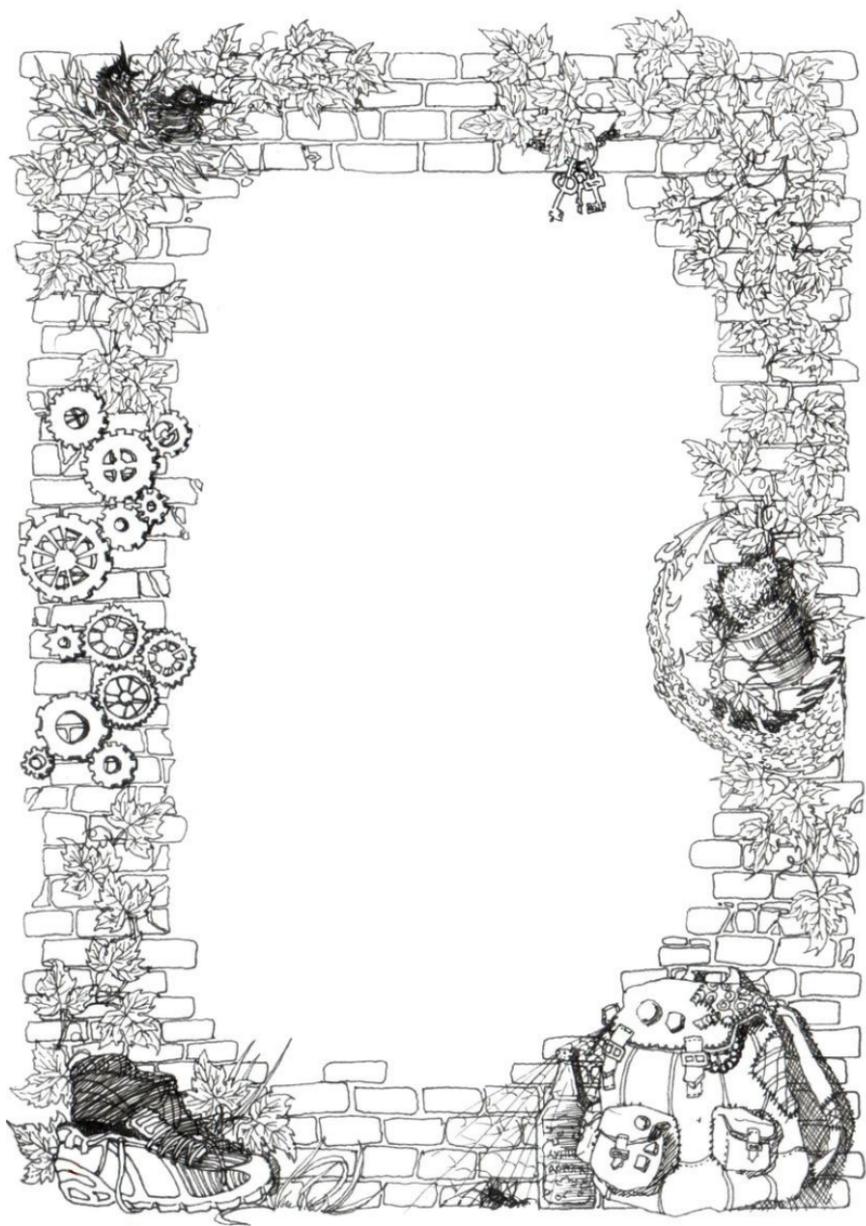
Мы проси любимых мелодий

Ты проси любимых мелодий. Я спою тебе о том,
как на брошенное знамя наступают сапогом,
как под ясным вечным небом закипает страшный бой,
как уходят на рассвете, ничего не взяв с собой.

Как кричат и шепчут имя за секунду до конца,
как бессмысленные жертвы продолжают отрицать,
как огонь над их телами застилает горизонт,
как однажды нам придется выбирать одно из зол

И принять его, как данность, не пытаясь побороть.
Как хотелось бы забыться, только это въелось в плоть,
как сливаются все страны в обгорелый черный ад:
все закончится однажды, в этом смысл всех баллад.

А когда толпа уходит, остается менестрель.
Ты проси любимых мелодий, только о любви не смей.



Песня пути

Уходи от шербатых стен, пей ночную мглу,
освещают твою дорогу десятки лун.
Слышишь, флейта поет? Вставай, собирайся в путь,
всё, что было вчера — неправда, забудь, забудь.

Это песня пути, ты слышал ее во снах,
все дороги сошлись в единую, вот она.
Там, где капала кровь, соцветие шелестит.
Выходи за порог, я знаю, куда идти:

по тропинке лесной и дальше. В её конце
кто изломанным был, окажется снова цел,
будет утро, и будет вечер, и будет дождь.
На полях расцветают маки и зреет рожь,

в доме пахнет травой и мёдом, трещит сверчок.
Нам пора, так не бойся, переступи порог,
в лунном свете тропинка стелется впереди.
Это флейта поет, иди же за ней, иди,
бесконечен, как шум прибоя, ее мотив.
Всяк идущий за мною да не свернет с пути.

Очень шумно

Он просто приходит и тихо садится рядом,
ты можешь теперь подавить облегченный вздох.
Всё слишком легко, а значит, настолько правда,
чтоб ты и себе признаться-то в этом смог.

В Кофейнике очень шумно и очень душно.
Ты пьешь нефтяную жидкость с его руки,
он просто молчит — прямой и почти послушный.
Он снова уйдет, и будут шаги легки,

и будет прохладным вечер и тихой — полночь,
он явится, Лес принеся на худых плечах,
и запахи трав, и песни, что не запомнишь,
зато можно просто сесть рядом и помолчать.

Он прячет лицо в отросшие за год пряди,
и ты проклинаешь пальцы, которых нет.
Он снова был там, за черной кривой оградой,
тебе принеся в ладонях молочный свет

и шорох Ночных в кармане своей рубашки.
Дом спит, и вполне возможно, что видит сон.
Всё так, как должно — тепло и совсем не страшно,
когда на твоём плече засыпает он,

Ты чувствуешь пульс —
 чуть слышный, тревожный, рваный...
в Лесу все следы — за кружевом паутин.
он станет твой Дом, найденный, обетованный,
и ты не отыщешь силы теперь уйти.

Мы вернемся сюда

Ты вернешься сюда, а пути не запомнишь сам.
Так на место убийства грешника тянет кровь,
так берет амулет не верящий в чудеса.
Ты стоишь на пороге старом и видишь вновь

этот яркий, давно тобой позабытый сон:
ты идешь через двор, и плещется вдаль
чей-то смех, и цветет сирень. И твоя ладонь —
в самой доброй и самой тёплой большой руке.

Помнишь, Дом, ты ведь должен помнить, она была,
эта малая часть, что назвалась моей душой?
Я боялся ее, но честно делил на два:
ты забрал одного, а другой за мной не пошел.

Это так ты задумал, так ли всего хотел,
оставляя внутри омерзительной пустоты?
Я ведь ждал их, но в старый в Лес не ведёт путей,
по которым сумеет кто-то ко мне дойти.

На Изнанке апрель нас полощет сырым дождем,
здесь весна наступает медленно, словно смерть.
Я устал от нее, я выдохся, знаешь, Дом,
даже песни болот не могут меня согреть.

Я уже не боюсь, да что может быть страшней,
чем всё знать, не сумев безжалостно отпустить?
Посмотри на свой Дом — обломки сырых камней.
Ты стоишь перед ним, и ладони твои пусты.

Тебе ночь передавит горло

А потом тебе станет так больно и горячо,
поцелуешь того, кто рядом лежит, в плечо,
потому что словами это не рассказать.

Тебе ночь передавит горло, войдёт в глаза,

загорятся в саду неясные огоньки,

станет лапою волчьей мрамор твоей руки.

Будет шлейфом стелиться матовым Млечный путь,

и ты ступишь босой ногою на ту тропу.

За спиной остаётся шепот ночных болот,

не ходи, не ищи, не слушай, там будет тот,

кому имя лишь сонным шепотом и дадут,

улыбнись и беги от того, кто живет в пруду.

Ты пойдешь босиком по осоке да камышам,

и следы твои звездной пылью припорошат,

здесь почти невозможное сбудется — стань собой,

и луна серебристая слышит твой волчий вой,

потому что так можно выкричать пустоту.

А в саду твоём за ночь лилии прорастут.



Здесь зима чудовищна

Здесь зима чудовищна и прекрасна,
под подошвой снег расцветает красным,
Все вокруг так вежливы и бесстрастны,
и мертвы, а ты еще хуже их.

Вот тебе твой замок с прекрасным принцем.
Он тебе, наивная, долго снился,
колотилось сердце внутри, как птица,
а здесь даже ветер — и тот затих.

Ты его всё греешь, всё гладишь взглядом,
а ему давно ничего не надо.
Говорит: "Оденься, сейчас прохладно,
посмотри вокруг себя, посмотри".

Заливаешь ужас горячим чаем.
Всё темнее мильй твой, всё печальней,
ты напрасно ищешь его ночами
и сидишь, уставшая, до зари.

И тебе бежать бы, пока есть силы,
только ты заранее всё простила,
в этих стенах каменных всё постыло
и не будет места тебе вовек.

На руины дома приходит вечер,
"Обними, — ты просишь, — любимый, крепче".
Он стоит, устало поникли плечи,
и в его ладонях не тает снег.

Hi, Кай

Здравствуй, Кай. Проходи, не стой,
что так долго не был?

Кофе будет вот-вот, сейчас принесу. Держи.
Как дела, мой хороший? Всё созерцаешь небо
сквозь осколка в глазу узорные витражи?

А второй, как все знают, в нежном тепле предсердья,
потому и в груди твоей больше ничто не бьет.
Будет слишком нелепо спрашивать, как там Герда —
она преданна так, что скучно любить ее,

скучно думать о ней, а что может быть печальней?
Суть проблемы в другом, и нам уже нечем крыть:
не тебя я во сне глубоко смотрю ночами,
ты приходишь ко мне помалкивать и курить —

идиотский сюжет, хоть в прессе его печатай.
Но оставим галдящий социум вдалеке:
я сама королева здесь, нищенка и глашатай,
есть ли место тебе в холодном моем мирке?

Я должна еще выложить главное слово "вечность",
неделимое и прекрасное, как кристалл.
Пусть автобус увозит прочь тебя до конечной,
пока мне еще хочется, чтобы ты уезжал.

Вспомни меня

Герда моя, шепчу ей, моя родная,
вспомни меня, названного братца Кая.
В городе нашем пахнет дождем и маем,
так же прибой баюкает по ночам?

Я тебе был и домом, и целым миром,
помнишь, как вьюга билась в окно квартиры?
Ты бы меня еще раз за всё простила,
если бы знала, как я тогда скучал.

Ты же прошла полсвета, разбила царство,
мне твои слезы горькие — за лекарство.
Герда, пойдем, здесь лучше не оставаться,
вечной зимою скована тут земля.

Герда кивает, медленно и несмело,
гладит его холодной ладонью белой,
а между ребер входит поглубже в тело
острый осколок битого хрусталя.

Сперва леденеют губы

Сперва леденеют губы, потом замерзают пальцы,
у Герды еще есть дело, и всех оно дел важней.
Дворец заметает снегом, а окна его искрятся,
а женщина в платье белом стоит у его дверей.

Смеется легко и звонко, и хохот не умолкает,
глаза Королевы колки, и тайну они хранят.
"Я тоже была девчонкой, и тоже брела за Каем,
а он с Королевой Снежной ушел, не узнав меня.

Отныне я здесь, и иней окутал мои ресницы,
и руки мои с поры той холодные, как снега.
Теперь не поют мне песен смешные лесные птицы,
а льдинками с веток стылых слетают к моим ногам.

Забудь своего мальчишку, он больше тебе не нужен,
здесь сумрачно и спокойно, и спит подо льдом земля,
и будут другие Каи идти к тебе через стужу
за вечностью и осколком холодного хрусталя.

Однажды придет другая, как ты — босиком по насту,
готовая в платье тонком искать его до конца,
и Кай у твоих коленей мгновенно её предаст, но
не вспомнит её ладоней, не вспомнит её лица.

Хрусталь остается в сердце, куда же ему деваться?"
Встает и подходит ближе, не прячет блестящих глаз.
Сперва леденеют губы, потом замерзают пальцы,
корона искрится снегом, и Герде она как раз.

В воздухе пахнет липами

Кай к ней идет навстречу и обнимает,
лед на его ресницах совсем растаял,
добрая Герда, хорошая, дорогая,
ты всё сумела, милая, ты дошла.

В замок приходит ветер, тепло и солнце,
Кай обнимает плечи ее, смеется
и говорит – не бойся, давай, дотронься,
здесь даже птицы сделаны из стекла,

я так хочу вернуться к тебе и розам,
Герда, пойдем, я вижу на небе звезды,
мы возвратимся вместе, еще не поздно,
только не плачь, любимая, я живой.

Герда сжимает в пальцах его ладони:
эта, чужая, больше его не тронет,
в воздухе пахнет липами и весной,
и наконец-то в сердце ее покой.

*

Финка, рыдая, шепчет под нос молитвы:
ноги в крови у Герды и все разбиты —
столько идти по льдинам острее бритвы
и не сумеь вскарабкаться на крыльцо,
ну же, ответь мне, девочка, что с тобою?

Снежные хлопья с неба летят гурьбою,
Герде не холодно, Герде совсем не больно,
и замечает вьюга ее лицо.



Амулет

Замолчи, ни слова не говори,
искривляя губы в усмешке злой;
Ядовитый, ветренный, только мой,
ты уйдешь, как только рассвет сгорит.
Я снимаю с шеи свой амулет.
Моей кровью выжжены, как огнем,
погляди, как руны красны на нем.
Он тебя не сможет укрыть от бед,
от дурного глаза и от молвы,
от волны соленой и от ветров,
не настигнет карой твоих врагов,
не развеет облако вязкой мглы.
Приглядись внимательно, не спеша:
он послушен вязи моей из слов,
так же тяжек он, как моя любовь,
так же темен он, как твоя душа.
Сто дорог возможно в одну связать,
и ведет опять она под мой кров.
От золы уставший и от костров,
не сумеешь ты не прийти назад.

Небо

За столом нет бесед, и веселье уже остыло,
это — время боев, каждый рыцарь теперь угрюмый.

Были кубки с вином, сейчас и они пустые,
а певец улыбается и зажимает струны.

Стены замка опутала ночь и укрыла снегом,
и в звучании фраз еще слышно хрипение битвы.

Менестрель никогда не смотрел в облака и небо,
пеленой слепоты от рожденья глаза покрыты.

Но он пел им о красках весны и закатах лета,
о мерцании звезд и пламени самоцветов,
о драконьем огне и о клекоте острой стали,
и, как будто вблизи, перед взглядом опять вставляли
кудри жен, свет луны и поля без багряной крови,
серебро берегов и дыханье морских прибоев,
монолит серых скал, шорох ветра и запах хлеба.

Он играл, и в распахнутом взгляде сияло небо.

The Northern Tale

Ты однажды сомкнешь глаза, а откроешь их
на скалистом, покрытом холодом берегу.
Будет буря, дитя, послушай, как ветер стих,
это волны в себе ушедшее стерегут.
Называй, как захочешь — это и будет Рок,
что единственным взглядом отрубит пути назад.
Руны три упадут на камни, замрут у ног —
ты сумеешь ли их спросить, а затем познать?

Это Манназ — душа и тайна, дитя. Смотри,
как шумят времена и ливни поют внутри,
и драккары с боков изящных смывают соль.
Разреши всему сбыться, всё позабыть позволяй.
Я расту под землей, корнями вплетая суть,
прижимаю к груди и тайну свою несущу.
Различая едва — то вымысел или быль? —
как без ветра шумит незыблемый Иггдрасиль.

Я пою, хоть и рот мой нем, о сплетеньи лет,
над холодными скалами алым течет рассвет.
Окропи им алтарь, да будет тверда душа —
Громовержец, дай сил, Злокозненный, не мешай.
Кеназ— пламя, жить значит только одно — пылать.
Что тебе этот мир, когда ты сгоришь дотла?
Из ладони распоротой клятву, как брагу, пей.
Кровь ушла, как уходят соки в размах ветвей,

так не бойся пролить её, бойся отдать врагам.
Море ранит себя об острые берега,
посмотри, на песке начертана им скрижаль,
да прочтет ее тот, кому ничего не жаль.
Третья руна пуста, попробуй ее найди,
а потом возвращайся, если еще цела.
Ты проснешься потом, и что-то болит в груди,
будто слышала песню, а слов не разобрала.

Холоднее льда

Выходила вечером на причал,
хоть давно всё ведала наперед.
Лишь холодный ветер меня встречал
да пустой, безжалостный горизонт,

только им я песни теперь пою,
солнце красит волосы золотым.
Как живешь ты, милый, в чужом краю,
как давно тот берег назвал своим?

Обнимает крепко тебя жена
и попутный ветер ли в парусах?
Сделать шаг и больше, коснуться дна,
позабыть про слабости и про страх.

Отдала волне я свое кольцо,
подарила морю свою печаль,
стали травы водные мне венцом.
Выходи, любимый, меня встречать.

В час, когда за окнами только мгла,
всё оставь, ко мне одной выходи.
Я по острой гальке к тебе пришла,
посмотри, багряны мои следы,

а слова все ветер давно унес,
для тебя сплетенные одного.
Ты из этой ночи, лишенной звезд,
не запомнишь более ничего,

только звон невидимых бубенцов,
только сладость губ холоднее льда.
Слушай, как легко шелестит вода,
а потом смыкается над лицом.

Не шумит больше ветер

Мне в миллион голосов насмешливо говорили —
не шумит больше ветер в листьях на Иггдрасиле,
что легенда ушла и ее затянуло пылью,
лишь безумный теперь где-то ищет ее следы.

Не лоснится кора от крови, не свищут стрелы,
да и корни его под дерном давно истлели,
не рыдают о нем ни скальды, ни менестрели,
сочиняя напевы старым и молодым.

Говорили — чего ты ищешь, о чем тоскуешь,
ведь любая история пишется на другую,
древа нет сотни лет, ты стоишь по колено в снегу и
только звон от мечей различаешь в седой дали.

Ведь давно утонули люди в грехе и скверне,
разучились молчать и слушать, смотреть — и верить.
Иггдрасиль прорастает робко в соседнем сквере
из обычного семечка, брошенного в пыли.

Морской змей

Этой ночью прибой стал порывистей и сильнее —
нам сказали старейшины, пряча в глазах тревогу:
то со дна поднимает приливом морского змея,
ни огонь, ни железо отныне нам не помогут,
не молитесь богов в ристалищах о погоде,
закрывайте покрепче двери свои и ставни,
неспокойное нынче время, тревожны воды —
разойдутся волной, ничего от нас не оставят.
Говорят, что одно нам поможет теперь лишь средство —
отправляйте на берег деву в шелка одетой.
Повезет — усыпит она змея своею песней,
если нет — за драккары наши пусть будет жертвой.

Стоит тьме опуститься — слышатся переливы,
голосок, как хрусталь прозрачный, а ночь проходит —
змей лишь смотрит на берег пристально и тоскливо,
кораблей не тревожит наших в воде холодной.
Затоскуешь — приди на берег под вечер поздний,
волны попроси себе новых монет и сказок:
дева песню поет, и мерцают над нею звезды,
и искрит на руке чешуя серебристой вязью.





Эта ночь

Эта ночь никогда, наверное, не закончится,
только рот забивает дымом и волчьим запахом.
И ты вязнешь в чужом отчаянном одиночестве,
посмотри на них лучше и задохнись от страха их,

посмотри на них — черных,
алчущих и отвергнутых,
на любимых и добрых, солнечных и загубленных.
Что готов ты отдать им в жертву помимо трепета,
если веры в тебе не хватит и смазать губы им,

если жизни тебе не хватит на миг служения?
Уходи, ты потом подкинешь монетку заново:
без разрухи, без алой крови и всесожжения,
только видишь, как неподвижно мгновенье замерло.

Эта ночь не твоя, а дикой охоты пиршество,
слышишь крики вдали победные и предсмертные?
Время скалить клыки и трупы глотать остывшие.
«Ты и гончая им, щенок мой, и станешь жертвою».

И приходит она — картинка для сумасшедшего,
легкий смех с хрипотцой да кожа такая светлая.
Погляди на нее, до края с тобой прошедшую,
а теперь отвернись, и никто не осудит этого.

Да здесь все пожимают руки на горле ближнего,
что она им, та женщина, разве ребра подобие?
А ты смотришь в глаза эти — мертвые, неподвижные,
и скулишь тихо-тихо, будто и впрямь щенок её.

До углей

Без усилий ты сможешь лишь до углей сгореть.
Только этому учит Ночь своих дочерей,
убегай, не беги, я рядом, я догоню,
не-таких-как-они легко предают огню.

Это тьма по губам твоим стелется, ну же, пей.
Ни мужчины, ни сына — девочка, будь сильней,
поиграй в заклинания, видишь, как хорошо,
а когда надоест, мы спрячем тебя в мешок.

Не зови эту Мэри с зеркалом у свечи,
посмотри, как глаза ее хищны и горячи,
как лежат на плечах ее бархат и соболя,
как на пальцах и под ногтями свербит земля.

Да не плачь ты так, девочка, ладно тебе, остынь,
что с того, что душа и тело твое пусты?
Мы наполним взамен твой разум совсем иным,
посмотри: силуэты зыбкие, словно дым,

что ты видишь в тумане, девочка, чье лицо?
Отпусти, уложи под травами мертвецов,
пой им песни, пока не сохнется кровью рот,
а с рассветом всё переменится, всё уйдет.

Распрями свои плечи, выпей еще вина —
королева в холодном Салеме лишь одна.
Посмотри — всходит месяц, алый и молодой.
Да кому б ты могла в этом городе быть собой?

Ночь нежна

Оглянись и вдохни её, чувствуешь — ночь нежна,
в ней блуждают они, дыхание их порочно.
Подставляешь ты горло, они выпивают тебя до дна,
оставляя пустую и звонкую оболочку.

Ты впиваешься в руки мне, пальцы твои — силок,
в нем колотится — разве не слышишь ты —
рвется сердце.

Этой ночью любой так отчаянно одинок,
так немного смешон в попытках своих согреться,

только я не смеюсь, вдохни меня, позови.

Оседает дыханье инеем на ресницах,
ночь нежна. Засыпай, а страшнее моей любви
ничего,
ничего с тобой не случится.

Дочь моя

Вайрэ-прядильщица новую держит нить,
Чтобы отмерить, нужно взглядеться вдаль.
Я выбрал вечность, ты выбираешь жить.
Дочь моя, дочь, спрятанная печаль.

Волны Эккайи смоят любую боль.
Ты никогда не ступишь на борт ладьи.
Он будет славен, твой молодой король.
Дочь моя, дочь, боги тебя храни.

Что стало явью, то не вернуть назад.
И на рассвете — это и есть ответ —
бездна заглянет прямо ему в глаза.
Дочь моя, дочь, сломанный горицвет.

Город обступит каменной мощью стен.
Ты не захочешь жить без него одна.
Я знаю всё, оттого будет крик мой нем.
Дочь моя, дочь, лопнувшая струна.

Danse macabre

Пальцы длинные крепко сжимают распяты,
здесь всегда тишина и покой предвечерний.
Нет для сана глупей и постыдней занятия —
наблюдать за толпой грязной уличной черни.

Среди взглядов — она, что легка и свободна,
и на теле огонь алый всполох рисует.
Хмуришь темную бровь, улыбаясь холодно:
на костер бы тебя, там—то точно станцуешь.

Бубен в легкой руке и миллионы ужимок,
ты стоишь у окна, тебе некуда деться.
Она пляшет, тугой изогнувшись пружинной,
вместо серых камней наступая на сердце.

Как всегда, наступает закат незаметно,
распыляя с небес огоньки—незабудки.
И служение хора Пречистой и Светлой
заглушается звоном монеток на юбке.

Моя гибель моя

Не ждать спасения мне отныне,
но кара и без того жестока,
Мне дал Бог душу — служить во Имя,
и дал тебя, чтоб служить пороку.

Благословляя, творя проклятья,
я был орудием лишь, что проще?
Ты танцевала в летящем платье,
слепя залитую солнцем площадь,

и я забыл сотворить знаменье,
забыл коснуться креста украдкой...
Моя сутана была спасеньем,
а оказалась обычной тряпкой.

Я обречен на смертельный пламень,
мне каждый шаг твой огонь пророчит,
Я закрываю лицо руками,
но слышу голос твой среди ночи.

Боль давит грудь и стучит под кожей,
у боли руки нежнее шелка,
Я на коленях, помилуй, Боже.
Теперь от веры немного толка,

настанет утро, молиться поздно
в лучах рассвета, что догорели.
Она прекрасней, чем свет и звезды,
петля ей стала за ожерелье.

I'll sing

Когда вечности станет мало,
бей ее и топчи осколки.
В тишине моего подвала
я услышал твой голос звонкий.

Монотонней, чем шум прибоя,
ты шептала, как мир чудесен.
Что ты знаешь о годах боли?
Что ты знаешь о звуках песен?

В мой подвал — какова картина! —
в белоснежном венчальном платье
Ты вернулась, моя Кристина.
ощущай же мои объятия,

Поцелуи мои и ласки
принимай же в свечном отсвете.
Как красива ты в этой маске!
Только маска твоя посмертна.

Вечность после — не слишком мало.

Ты моей была лишь минуту.

Да, твой брошенный тёмный ангел
прочь несёт тебя, в плащ укутав.

Чёрный мрамор, ночная нега,
мой истерзанный, хриплый голос.

Я прикрою тебя от снега,
я спою тебе всё.

Ещё раз.

My reliance

В играх с судьбой первейшее — просто верить,
так становясь всё больше самим собой.

Светел твой лик, и нас разделяет время,
вместо надежды ты подарила боль.

Я возвращался сотней дворцов и пастбищ,
чтобы увидеть свет у твоих дверей.

Завтра наступит — что ты себе оставишь?
Будет любовь твоя жизни моей длинней?

"Главное — верь", — твердят в унисон преданья,
мир без надежды просто сойдет на нет.

Я согреваю Дар твой своим дыханьем
В тщетной попытке взять уходящий свет.

Это — лишь отблеск яростного огня,
он угасает медленно, ежечасно.

Если б ты знала, как ты сейчас прекрасна.
Если б ты знала, как теперь смертен я.

Послушай

Брат мой, не-брат, послушай, я видел всё.

Правда наш мир разрушенный не спасет.

Я так устал, что сил не найду опять,

чтобы тебе солгать.

Брат мой, не-брат, до скучного прям твой путь.

Молота нет, но тяжесть легла на грудь.

Чары темны мои, кто же подарит свет,

если тебя здесь нет?

Мрачен твой лик, но ты не умел быть груб.

Это лишь боль, что хлещет с раскрытых губ,

я так устал, что выпью тебя до дна,

что мне твоя Она?

Брат мой, не-брат, в каком ты теперь краю?

Я не скучаю так, что тебя убью,

если ты вздумаешь снова меня найти,

брат мой, не-брат, прости.

Правда куда заметней в крошечной мгле,

ветров тебе попутных в чужой земле.

Милый мой брат, единственный мой не-брат,

Ты же придешь назад.

Mad mad girl

Сомкнуты кулисы, наступает полночь.
Ну привет, Алиса. Ты меня не помнишь?
Глупые ответы, отголоски песен,
я в тени буфета, в твоём старом кресле.

В нашем мире лето, только снег не тает.
Да, я знаю, где ты. Как ты засыпаешь?
Прятаться от боли — действенное средство.
Дочь твоя найдет ли наше королевство?

Там, где снег не тает, всё же веселее.
Муж-банкир читает книги перед сном ей?
Голубые глазки, платьице по моде —
променяла сказку на вонючий Лондон,

где слепы кумиры и тонки подошвы.
Мы реальней мира, где сейчас живешь ты.
Как мы? Да нормально. Во дворце измены,
солнце всходит рано, нерушимы стены,

Кот, со мною вместе, грустен и покинут —
некому петь песни, некому мурлыкать.
Обсуждаем вечно недостатки чая,
и приходит вечер. Я? А я скучаю.

Ты могла б остаться, слушать утром трубы,
встретить свои двадцать здесь, под старым дубом,
быстрой быть и смелой с Кроликом-растяпой,
я, как ты хотела, не носил бы шляпы.

Жизнь твоя — реприза из газетных полос,
глупая Алиса, я любил твой голос.
В полумраке спальни плачешь ночью лунной?
Я вполне нормален. Это ты безумна.

Мне очень жаль

Можно не верить больше своим глазам
или бежать, покуда остались силы.
Мы на пороге Ада вдвоем застыли,
всё очень просто — дальше иду я сам.
Я тебе нужен, в этом твоя беда;
ты не нужна мне, боги, какое счастье.
Предпочитают деву бескрайней власти
лишь идиоты, сдавшие города.
Мы у черты, и больше нельзя назад,
будет безумным просто остановиться.
Это лишь Бездна, что ты боишься, жрица?
это она вгляделась в твои глаза,
Так не пугайся, трепет — удел рабов,
но почему бледна ты и так бескровна?
Ты, потерявшая зренье во мраке полном,
так же сейчас слепа, как твоя любовь.
Час написать по новой времен скрижаль,
мне ли оплакать горечь твоей утраты?
Может, я и не вспомню об этом завтра,
Ну а сегодня, правда, мне очень жаль.

Больше, что могу

*И ей, а не мне, предстоит умереть.
Я с ней предпочел поменяться ролями,
поскольку, к несчастью, любовь — это смерть.*

(с) Последнее испытание

Не кричи, не рыдай так страшно,
я не слышу тебя почти.

Коридоры пустые Башни
расстилаются на пути,

я не слышу, моя помеха,
твоих жалобных криков "Стой!"

Мое имя уносит эхо,
монотонное, как прибор.

Скоро мне перестанут сниться
пальцы тонкие в волосах,
Ты меня не губила, жрица,
так тебе ли меня спасти?

Звонок голос и лик твой светел,
я не нужен ни здесь, ни там,

только тьма и колючий ветер
за мной следуют по пятам,

есть тебе ли во мраке место,
возле огненных жутких Врат?
Я с тобой был предельно честен,
я к тебе не приду назад.

Ваша страсть — несмешная шутка,
не советую и врагу,
исцеление болью жуткой —
это большее, что могу,

нежность, горечь — всего лишь повод,
не зови меня, не зови.

Пелена слепоты и холод
всё же лучше моей любви.

Кто приходит ночью

Каждый живущий в мире имеет страх,
что остается горечью на губах.

Дело лишь в том, что гложет тебя теперь,
так запирай покрепче входную дверь.

Тот, кто приходит ночью, всегда один,
не выходи из дома, не выходи.

Я слышал сам, он шепчет в ночную тишь:
"Если ты мудр, то притворись, что спишь".

На зеркалах — его отпечатки рук,
это его ты слышишь за дверью стук.
Страхи твои — лишь смысл его игры,
те, кто приходят ночью, всегда мудры.

Я не боюсь ни ночи, ни тьмы, ни зла,
но тяжело в его мне смотреть глаза.
Мы с ним пьем чай, и хлещут дожди свинцом.
Гость очень тих, и у гостя мое лицо.

О тенях

Расскажу тебе быль — не слушай:
там, где ночь заменяет день,
В старину, чтобы вынуть душу,
колдуны забирали тень.
Отрезали стальным кинжалом,
подставляли под лунный свет.
Что ее на земле держало,
уходило за тенью вслед,
Забирая с собой мысли,
уводя за собой мечту.
Кто лишался любого смысла,
просыпался потом в поту,
и, не верящий ни в заклетья,
ни в гадания колдунов,
Приходил к ним, шепча проклятье,
и стучался под темный кров.
Люди в храме искали веры —
находили могильный мрак:
На порогах плясали тени,
да пронизывал вой собак.

Ни лучины там, ни оконца,
и пришедшие до зари
Оставляли мечты о солнце,
о надежде и о любви.
Время стены любые рушит
и сильнее любых теней,
Только храм, пожиривший души,
в песнях помнится у людей:
были ночи темней руины,
и дорога от них вела
к быстрым рекам, и в их глубинах
вместо вод извивалась тьма.

Ни к чему тебе знать науки
тех кровавых миров чужих —
моя тень и так тянет руки
и клубится
у ног
твоих.

Хьюстон

Хьюстон, у нас никаких проблем,
что, в ровном счете, плохо.

Я по звонку поднимаюсь в семь,
пью декалитры кофе,
с энтузиазмом смотрю в окно
с теплого дна постели.

Это уютно-чудесно, но
день мой уже потерян.

Что мне ответить тебе, мой друг?

Выход один — "так вышло".

Нет тебя в городе, что вокруг,
в сердце моем — почти что.

Дар равнодушия, как урок,
всем, кто желает много.

Если Бог выйдет на диалог,
что я отвечу Богу,
главную выделив из дилемм
модного нынче Пруста?

Хьюстон, у нас никаких проблем.
Просто мне пусто, Хьюстон.

Первое правило

Первое правило Клуба — не говори ни слова.
Будь молчалив, как Будда, и заходи к нам снова.

Ты не хотел "так вышло", ты это сам придумал.
После секундной вспышки почувствуй губами дуло.

Я допиваю кофе (кто его варит, кстати?),
лучше б ты делал морфий, да ненадолго хватит.

Над нашей старой крышей всходят и гаснут звезды,
я не смотрю и вижу, как станет слишком поздно.

Быстро привык, к несчастью,
видеть твой взгляд блестящий.
Стань моей лучшей частью — стань моим настоящим.

Сделаю, как ты любишь — быстро, опасно, грубо.
Первое правило Клуба — не целовать в губы.

Он говорит

Он говорит мне: слово есть абсолют,
только оно оставит тебя живым.

Он снова пьян, да столько вообще не пьют,
в баре ужасно душно, и мы сидим,

глядя, как мягко стелется тротуар
прямо под ноги серому ноябрю.

Жадно вдыхаю запах его сигар —
я уже год фактически не курю.

Я уже год не вижу ночами снов
и различаю лица едва—едва.

Он говорит, и я забываю вновь,
что зарекался верить его словам.

Он говорит, улыбочивый донельзя:
страх — это глупость, худшая, чем любовь.

Я уже год боюсь приоткрыть глаза
и не услышать в доме его шагов.

Я не курю, но, в общем, уже привык
к тоннам окурков в чашках и на столе.
Мы неудачный опыт, неровный стык,
нам бесполезно помощи ждать извне.

После всего останемся только мы.
Я уже год считаю себя живым.
В баре ужасно душно. Я жду зимы
и из разбитых губ выпускаю дым.

Con amore

Моим напыщенным речам, моим упрекам и мольбе
ты верил так, как верят в ложь, когда иного не дано.
Я уходил десятки раз, но все пути ведут к тебе.
Мое безумие со мной всегда играло заодно,

Теперь, когда известен счет и все мосты уже горят,
Я знаю — я тот черный яд, что ты всегда носил с собой,
и в этом тоже ты один неоспоримо виноват.
А мне и плакать не дано, и вместо крика хлещет боль.

Я безнадежен, всюду ты —
любой набросок, каждый звук,
ты проступаешь в полутьме и смотришь с нотного листа,
звучишь аккордами во мне и, как песок, течешь из рук.
Ты не был никогда жесток, так посмотри, как я устал.

Я видел всё и всё забыл, я есмь и жертва, и палач,
мне не найти дорог назад, я искупление и грех.
Да будет песнь твоя чиста,
как ветра шум, как детский плач,
Звучит пусть музыкой дождя и аллилуйей не для всех.

В твоей квартире

В твоей квартире почти темно,
так и сидите — два силуэта.

Ночь льется патокой за окно,
тебе отчаянно нужно света,

чтоб убедиться, запечатлеть
его, с ногами залезшим в кресло.

Тебе известен и так ответ,
сюжет не нов и не интересен,

как будто видеть любимый фильм
в дурацком скомканном переводе.

Ты тишину разделяешь с ним,
а он уйдет. Он всегда уходит,

оставив чуть приоткрытой дверь
и свой окурок в разбитом блюде.

Ты молча смотришь в сырой апрель,
часы испорчены и смеются,

как будто времени больше нет.
Вокруг сияет огнями город,
который манит его на свет,
который так же навечно молод.

Ты бродишь улицами его,
вскользь отмечая чужие лица,
пустые улицы. Ничего,
что помешать бы могло напиться,

кровь лижет камни твоих перстней.
Как он, ты носишь их, не снимая,
боль точно делает нас сильнее,
но, к сожалению, не убивает.

А утром ты повернешь домой
под рёв железных колесных чудищ
и очень тихое за спиной:
"Ну, а теперь-то меня ты любишь?"

Холдену

Что не случилось — позже тебя настигнет,
что не сбылось — ночами тебе приснится.
Холден, я так тебе верила в этой книге,
переминая в пальцах ее страницы.

Вот мне четырнадцать, лампа и одеяло,
если притихнуть — можно совсем не спать.
Холден, я так давно тебя не читала,
что мы успели вырасти и настать.

Вот это слово-льдинка дошло до сердца,
разве у нас с тобою бывали зимы?
Я теперь старше тебя, никуда не деться.
Холден, зачем мы стали такими злыми?

Просто идти, задевая рукой колосья,
будто бы рожь сумеет мне стать преградой.
Где-то недалеко притаилась пропасть,
знаешь, я никогда не боялась падать.

Утреннее

Наливаю в чашку кофе, ты заканчиваешь бренди.

И не то чтобы всё так плохо,

дальше будем — тише едем.

Ты читаешь о морали в институте желторотым.

Ни на что не намекаю, как я смею, что ты, что ты.

Мы давно не ищем злата, ни Граалей, ни богатства.

Будет ли посильной плата, чтобы навсегда остаться?

Если выйдет вспомнить что-то,

значит, вправду не приснилось.

Я ваш кредитор, герр доктор, это лучший в мире бизнес.

Ты боишься осознания, что твой мир уже разрушен,

между стонами и бранью обещаешь свою душу.

Наш сюжет до дыр затерт, но привыкаю, вот досада.

Ты утрами спишь, как мертвый. Я боюсь, что это правда.

Между нами и забвеньем кухня, чай и тонны света.

Останавливай мгновенье. Почему бы не вот это?

Du bist so schön

Бог есть закон, незыблемый и могучий,
чувствуй — покрыты терном его пути.
Мне снова скучно, бес, и на этот случай
не предусмотрен способ меня спасти.
Мне ли теперь молиться? Сей способ жалок
и вызывает прошлое из могил.
Рай — это просто место, где много яблок,
значит, наш домик в Праге почти им был.
Ты есть огонь, безумен, непознаваем,
ты эшафот мой, карцер и пьедестал.
Вот парадокс — меня наказали раем.
Ты хохотал бы в голос, когда узнал.
Мне Вечный Сад до боли неинтересен,
тяжесть укрыла сердце и бьется в такт.
Где ты сейчас? Всё так ли мурлычешь песни,
с кем у тебя теперь заключен контракт?
Дни здесь легки, безудержны и крылаты,
ночью пустынно-тошно, хоть волком вой.
Если моя душа и была когда-то,
то до сих пор таскается за тобой.

И приходит ночь

Всё закончилось, нам останется лишь смотреть
и не верить глазам отчаянно, обреченно.

Я стою под голодным небом, кроваво-черным,
будет буря, и будет холод, и будет смерть,

Я исток и конец, я карцер на одного,
я есть путь в никуда, в тугую петлю запутан.
Мы с тобой повторимся снова, и станет утро,
ярко-желтое, как и тысячи до него.

Тьма плывет по пятам, я чувствую этот зов,
я иду на него, привязанный поневоле.
Ты стучишь у меня под ребрами, бьешься в горле,
я вдыхаю тебя, как воздух перед грозой.

Не смотри на меня, замри, отведи глаза,
то не утро доспех окрасило мой багрянцем.
Мне не страшно уйти, а страшно одно —
остаться и тебя ни в одном из обликов не узнать.

Скоро время затянет прахом мои следы
и в измученный хрип молчание обернется.
Мы с тобой повторимся ветром и этим солнцем,
первым снегом, неслышной песней, глотком воды,

гулким эхом гробниц. Былое уходит прочь,
темнота застилает разум, бежит по венам.
Мы с тобой повторимся снова и непременно,
не бросай мою руку.
Слышишь? Приходит ночь.

Регне

Когда-нибудь я стану просто миф.
Среди цветов, среди сплетенья трав,
сейчас, пока я безнадежно жив,
моя любовь, мое спасенье, правь.

Над красотой, над трепетом сердец,
где ночь приносит новую зарю,
над миром, где начало есть конец,
правь потому, что я тебя люблю.

Дари другим свой бесконечный свет,
ни вечности, ни дружбы на века
потом себе не требуя в ответ.
Я оставляю мир в твоих руках —

владей им, в пальцах бережно держи,
пока он не угаснет насовсем.
Моя в клочки разорванная жизнь,
мой обожаемый и желанный плен,

в твоей всё власти: горные хребты,
прохлада леса и тепло костра,
наш век исходит кровью — защити.
Моя любовь, мое дыханье, правь.

Владей, моя истерзанная суть,
взорвавшееся Солнце. Всё тебе.
Всё о тебе, в тебе — ты только будь,
мое забвенье и небытие.

Среди людей жестоких и времен
укрой весну, не дай ее ветрам,
Будь всем, везде, не называй имен.

Душой моей и мной, как прежде, правь.
Когда-нибудь я стану просто миф,
разрушенный, как замок из песка.
Слова жить будут на губах других,

и я услышу: "Вот, что ты искал!"
Всю нежность и всю боль мою забрав,
ты только будь, как прежде, слышишь?
Правь.

Беги без оглядки

Хорошенький мальчик, чего тебе надо?
Попутного ветра иль прочную сеть?
Я многих встречала с блуждающим взглядом,
кого перестали мечтания греть.

Капризно и глупо внутри тебя горе,
хоть страстью, хоть блажью его назови:
хорошенький мальчик, живущие в море
души не имеют, не знают любви,

уста холодны, леденящи объятя,
зачем тебе это? Останься со мной.
Смотри, я надела летящее платье,
и кудри на плечи спадают волной.

Хорошенький мальчик, ты страшного хочешь,
и это недешево стоит, поверь,
не стоит кидаться в объятия ночи,
она поглотит, как некормленный зверь.

Пусть песни ее слишком сладки — не слушай,
не верь обещаниям девы морей.
Беги без оглядки, спаси свою душу,
пока еще можешь приказывать ей.

*«...когда он увидел, что близок конец, он поцеловал
безумными губами холодные губы морской Девы, и сердце
у него разорвалось. От полноты любви разорвалось его
сердце, и Душа нашла туда вход,
и вошла в него, и стала с ним, как
и прежде, едина. И море своими волнами покрыло его».*

О. Уайльд

Морти не болно

Милый принц, удержи дыханье —
к нам пожаловал южный ветер.
Он расскажет тебе преданье
о земле, какой нет на свете,
о сиренах, что губят снасти
и того, кто их пенье слушал,
и о деве морской, к несчастью
захотевшей людскую душу.

Я сижу на твоих коленях,
мой покой абсолютно полон,
вместо пафосных песнопений
можно слушать морские волны,
передать бы тебе их шелест,
как ветра гудят, пролетая.
Невозможные отношенья —
ты не мой, я сама — немая.

Это мелочи, мы с тобою
навсегда теперь, правда, милый?

Алой ягодой — капли крови
там, где я за тобой ходила,
где дарил мне цветы левкоя,
где я силы нашла поверить.
Нет следов лишь внутри покоев,
здесь я сплю у закрытой двери.

Мое дело — сиять от счастья:
ты ведешь к алтарю невесту,
посмотри, солнце рвет на части
моё тело. Теперь вы вместе,
так прекрасны в летящем танце,
не расторгнуть объятий плена...
Растворяются мои пальцы
и становятся белой пеной,

мне легко и почти не больно.
"Рядом быть и в любви, и в горе"...
Мои волосы — это волны,
и любовь моя — это море.

Стыла крови

Сколько долгих лет и холодных зим
не найти, не вспомнить, не рассказать.
Шесть сынов росло, да еще один —
мои кудри светлые и глаза.
Не носили злата и бирюзы,
не давали пламени догорать
сыновья мои, а седьмой мой сын
до сих пор уверен, что жизнь — игра.
Равнодушный к голосу моему,
от себя пытавшийся убежать,
он играет с ней, как играл в войну —
ничего не суть, ничего не жаль.
Я ему готовила сотни слов,
но смотрела, словно издалека:
на платке батистовом стыла кровь
и текла вином по его рукам.
Смерть — не адских труб громогласный вой,
это просто больно и горячо.

Шесть сынов растила я,
а седьмой заслони́л меня от нее плечом.

У меня оставалось сердце

Стали рядом и смотрят грозно —
кто такой я, чтоб их учить?

Никого, только мы и звезды.

Наилучшие палачи

это те, кому слепо верил,
кто еду делил и приют,
перед кем открывались двери,
но за мной они не пойдут.

Всё одно им, неинтересна
даже мысль моя, что легка:
там, за темным сплетеньем леса,
будут солнце и облака,

нестерпимо-прекрасным — небо,
свежий ветер, тепло, уют.

Они бьются за корку хлеба,
но за мной они не пойдут.

Ни к чему, да и нечем греться,
лишь глотать вязко- горький дым.
У меня оставалось сердце,
и я знаю, что делать с ним;

его больше ничто не прячет,
вот оно — перед всей толпой.
Я бы мог поступить иначе,
но они не пойдут за мной.

Ветви леса шевелит осень,
мне сказали они: "Веди!"
Люди верят тебе лишь после
рваной раны в твоей груди,

помни это, сверлящий взглядом
из толпы меня. Ну а впредь
наступи на него, как надо,
не давай ему догореть.

Не предай

Укрывает вьюгой прозрачный лед,
всяк, кто тепла лишен.
ты стоишь среди тех, кто меня клянет,
и лицо укрыл твое капюшон.

Как далек ты, сотканный из теней,
неужель забыл ты зеленый май?
Я тогда шептала, что нет страшней,
чем нарушить заповедь "не предай",

береги лишь тех, кто с тобой честны,
не желай возмездия никому...
Ты забыл все песни мои и сны,
и полыни запах в моем дому.

Мне твое бы имя промолвить вновь
и губами к пальцам твоим припасть,
за тебя молила я всех богов,
и они тебе подарили власть.

Сколько же воды утекло с тех пор,
только я всё помню, как день назад,
И когда читали мне приговор,
ты один не мог посмотреть в глаза.

Мне огонь милее могильных плит,
пусть стоять останутся на века,
то не он, а лава внутри кипит
и стекает вниз по моим щекам.

Коль слепая вера нас всех спасет,
я смогу увидеть ворота в Рай.
Я тебе, мой милый, вручила всё,
это только жизнь моя, забирай.

Ищи меня здесь

Ищи меня здесь. Я слышу твои шаги,
и воздух вокруг сгущается темной тучей.
Мы стали опасней, стали умней и лучше,
ты только меня от памяти сбереги,
от этой холодной режущей пустоты
лишь сутью того, что будешь сегодня рядом.
А помню ли я, что после? Молчи, не надо,
я сплю, и уже под утро мне снишься ты,
а я улыбаюсь глупо и широко,
всей областью сердца чуя твою реальность.
Меня здесь немного, знаешь ли, и осталось,
я важный вещдок, внеси меня в протокол.
Я здесь до конца, реально и на словах,
храни, заверни в бумагу, поставь на полку.
Среди городов, холодных, стеклянно-колких,
как сердце твое — не смей меня забывать.
Проснуться и снова встретиться невзначай,
как будто реальность делает нас иными.

Я помню одно и главное — твое имя,
пусть будет оно началом от всех начал.

По твоим следам

Ты, босая,ходишь в прибой брызги,
только он не сможет тебе помочь.
Жребий твой, как жемчуг, на нить нанизан,
океанской бездны родная дочь.

Твой любимый принц беззаботно-весел,
и ликует город, как никогда.
Да откуда взяться бы здесь принцессе?
Это я пришла по твоим следам,

и волна уносит мои напевы.
Как там ноги, в пору тебе пришлось?
Ты меня не помнишь, морская дева,
плоть от плоти — соль и легчайший бриз.

Я иной породы, иного склада,
в моих венах ихор течет, не кровь.
Даже ведьмы, детка, бывают рады
облака и солнце увидеть вновь.

И да будет ветер опять неистов,
и пылает свет, и горит костер.
У меня твой голос хрустально-чистый,
золотые кудри твоих сестер,

целый ворох чьих-то забытых судеб,
что легки, как чайки ночной полет.

Как считаешь, принц твой меня полюбит
до того, как утро тебя уьет?

Postscriptum

Где ты, сердце мое, в какой из бездонных дыр,
кто тебя обнимает, греет дыханьем кто?
Кто твой лекарь, твой исповедник и поводырь,
утыкается теплым носом в твоё пальто,
собирает голодным взглядом твои следы?
Поздравляй меня, нынче праздник, горят огни —
я три года вдыхаю дым, выдыхаю боль.
Я стою у стекла, и утро встает за ним,
но по-разному солнце светит для нас с тобой,
и по-разному мир свершается в нас самих.
Ты всё так же мне снишься, если я вдруг засну,
без наркоза легко срываешь заживший пласт.
Оживляю себя всю осень, потом — весну,
и надеюсь, что этот город тебя отдаст,
на одном тротуаре узеньком нас столкнёт.
Видишь, сердце мое, как ловко за словом «ты»
можно спрятать своё бессилье — на то расчёт,
Я охотник за ветром, сети мои пусты.

Я пишу для того, кто этого не прочтёт,
чтобы просто опять представить его черты.

Любить тебя

Любить тебя — быть распахнутым и нагим,
ловить, как в пустыне жаждущий ловит ртом
крупницы воды, твой голос; сливаться с ним
в один затаенно-трепетный унисон.

Любить тебя — как дышать. Задышаться без,
беречь, укрывать живительный кислород,
дать веру себе в единое из чудес,
не знать ни одной истории наперед.

Любить тебя — как ножом углублять порез
и после упрямо верить, что всё пройдет.
Любить тебя — быть живым. Целовать ладонь,
касаться руками старых твоих кассет,

читать твои книги и разводить огонь.
Любить тебя — это значит идти на свет,
который тебя уж точно уберезет
в любой из дорог и станет извечен сам,

стоять перед ним, как лезвие, обнажен,
тебе вознося чистейшую из осанн.
Быть чище, острее, нести на себе ожог
и втайне от всех его прижимать к губам.

И кожей горячей чувствовать — это быть,
не сон, не искусно сделанный суррогат.
Быть песнью тебе, быть музыкой, просто быть;
любить тебя — никогда тебе не солгать.

На всем находить в итоге твою печать
и чувствовать, как без веских на то причин
становится кровь искриста и горяча,
теперь отвечай, осмелившись приручить.

Любить тебя — значит клятвенно обещать,
что смерть нас с тобой подавно не разлучит.

Для того

Сколько было спето — и не о том,
зарастает травами сеть дорог.
Тот, кто был мне болью, воды глотком,
никогда не станет на мой порог.

Это слишком трудно принять всерьез,
а труднее — в голос не закричать:
всё, что теплым светом из глаз лилось,
диким воем просится по ночам.

Всё, что было ворохом из чудес,
остаётся вспомнить и отпустить,
не поет мне больше туманный лес,
не приносит тайны свои в горсти,

на росе не вижу я жемчугов
и не слышу птицы ночной полет.
Лишь один, забравшийся ядом в кровь,
мое имя больше не назовет.

Поискать бы в чаще траву-остынь,
что цветет созвездьями вдалеке,
только вязко-горькая, как полынь,
остается правда на языке.

Оттого не жгу я в ночи огня,
не бросаю рун на холодный шелк —
нет ни слов, ни музыки у меня
для того, кто слышал их — и ушел.

The ghost of you

Я сижу без движенья вновь на сырых камнях.
Не смотри так, смертельно поздно жалеть меня.

Знаешь, детка, я безнадежно-давно устал,
ты глядишь на меня, испуганна и чиста,

не хватает тебе лишь нимба и пары крыл.

Хочешь, я расскажу про всех, кого я любил?

Посмотри, что теперь я. Легкий неслышный стон,
тихий шепот за дверью, пение в унисон

вместе с чёрным, живущим в замке худым котом.

Я безликая тень, я шорохи, я ничто.

Я тогда управлялся с вепрем один легко,
вились тёмные локоны, кожа, как молоко;

я один был хозяин замка, земель окрест,
три десятка вздыхали рядом моих невест,
взял себе лишь одну я — стала моя жена.

Благородна, умна, красива и неверна.

Мне тогда бы остаться возле холодных скал,
где ходил, как слепой, я, и губы свои кусал,
мне не братья рукой бы вовсе за этот нож.
Я убил ее, детка, этим прикончив ложь,

в старом замке оставшись пленником навсегда.
Надо мной, не имея власти, летят года,
каждой ночью зову – и не плачется, хоть умри,
каждым утром гляжу — и руки в её крови.

Видишь, девочка? Ну посмотри, как она красна,
боль стучит в голове и напрочь лишает сна.
Вспоминай её лучше, детка, когда решишь,
что любовь никогда в ответ не получит лжи,

что сумеешь вернуть обратно всё словом "нет".
Посмотри, как удачно вышел ее портрет.

Как соль

Ей крутили пальцами у виска,
ей визгливо люди смеялись вслед,
вот, Ассоль, резец тебе, вот доска,
повезет — накопите на обед.

Дай отцу побольше — беднягу жаль,
над древесной стружкой корпит весь день,
и не пой так громко, у горожан
от твоих напевов уже мигрень.

Вырезай игрушки, считай улов,
не смотри тоскливо в морскую синь.
У тебя отец здесь, очаг и кров,
так чего у моря теперь просить?

А прибой и слезы на вкус, как соль,
да и ту потом унесет вода.
Капитан не слышит тебя, Ассоль,
капитана не было никогда.

Не гляди на море, дитя, смирись,
веры нет легендам и чудесам.
Грей корабль мягко ведет на мыс,
опускает алые паруса,

и ни звука больше не сходит с уст:
каменистый берег колюч и пуст.

Iron girl

Милый принц, почему сегодня тебе не весело,
почему ты вздыхаешь тяжело и прячешь взгляд?
Посмотри, для тебя вельможи в саду развесили
фонари, и сияет красками мой наряд.
В этот день запрети придворным ходить несчастными,
в эту ночь до любой звезды дотянись рукой.
Ты меня заказал у лучшего в мире мастера,
потому я пою так сладко и так легко.
Ты любил соловьев, холодных и механических,
и тебе их везли со всех уголков земли.
Прикажи мне запеть, не бойся, отбрось приличия:
про далекие земли, дивные корабли,
про высокие скалы и про пучины водные.
Будешь слушать и песен требовать вновь и вновь.
А потом я замолкну, хрипом прервав мелодию,
и меня унесут, как сломанных соловьев.
Лучший мастер на свете создал меня с ошибкою,
и она отравляет медленно, будто ртуть:

мое сердце — лишь ком из проволок и подшипников.
Ты узнаешь, как только выпотрошишь мне грудь.

Хуже, чем кандалами

Будут кусаться губы, ломаться пальцы,
зубы – дробиться и превращаться в крошево.
Смог бы один, без лишних трехсот спартанцев
армию персов разбить за тебя, хорошая,

смог бы пройти пустыню, да только ты злей её,
горы пройти, да только острее камня ты.
Сделала б меч — да жалко, что не железный я,
мимо хожу, холодный да неприкаянный,

хуже, чем кандалами, к тебе пристегнутый.
Хлещет дождя и ветра меня порывами,
только в ночи разводишь костер зеленый ты,
голосом хриплым кличешь меня по имени.

Я прихожу — рыдаешь, рукою нежною
гладишь лицо мне, жалишь своими ласками,
солнце взойдет — и тьмою мне веки смежило.
Что же ты, милая, сделала с нашей сказкою?

Одевают в алое

«В длинном красном одеянии стоит на костре индийская вдова. Пламя вот—вот охватит её и тело её умершего мужа, но она думает о живом — о том, кто стоит здесь же, о том, чьи взоры жгут её сердце сильнее пламени, которое сейчас испепелит её тело. Разве пламя сердца может погаснуть в пламени костра?»

Так тебя одевают в алое, красят хной
кожу рук и карминной палочкой — контур губ.
В этом городе каждый первый предельно глуп,
но смотреть, как ты станешь пеплом, придет любой,
как поднимешься в рост — сияние и свеча.
Пусть стучат барабаны, словно миллион сердец,
ты вопила бы в небо громче, чем старый жрец,
если б только сумела боль свою прокричать.
Это просто огонь — прими его, позови,
ты стоишь ярко—красным всполохом перед ним.
А любовь — обгоревшая кожа и черный дым,
разве ты не хотела прежде такой любви?
Не сдержать ее ни в объятии, ни в горсти.
Этот город зола укроет, как первый снег,
и того, чье лицо ты видишь с изнанки век
до момента, покуда огонь тебя поглотит.

Он поет тебе

*«Принял Дьявол мое обличье,
не найдешь и пяти отличий,
он упал пред тобой на колени,
целовал холодные руки»*

Мельница

Он приводит тебя опять на сырой причал,
ты не слышишь меня, как громко бы ни кричал,
я зову тебя вновь — меня заглушают волны.
Он одними губами шепчет мне: «Эй, моряк,
крепко держат на дне замшелые якоря,
слишком холоден трюм ваш, солью морскою полный?
Посмотри на нее, подумай-ка хорошо,
может, к лучшему был тот самый последний шторм?

Ты останешься только бризом и горсткой пыли,
что отдать ты ей мог, ракушки да звон монет?
Я несу ей в ладонях песни и лунный свет,
а когда надоест ей, я сочиню другие».

А глаза у него — мерцание в темноте,
он идет без следов, он сам себе ночь и тень,
и лицо у него мое, да медовый голос.
Он поет тебе так, как я никогда не мог,

и ласкается море пеной у ваших ног,
и вся память моя, как галька со дна, истерлась.
Расстиляется гладь воды под его рукой.
Что мне делать, когда и здесь не найти покой?

Я растаю, как дым, лишь только увижу солнце,
лишь услышу твой смех – чистейшее серебро,
мне доносит его любой из семи ветров.
Он целует тебя, как я. А потом смеется.

папа мешает в стакане бренди, где-то звенит трамвай.

Питеру восемь, двенадцать — Венди,

над Нэверлендом май.

Питер заходит в окно без стука, весел и вечно юн.

Он предлагает галантно руку, Венди дает свою,

и замирает внутри от счастья, что удался побег.

В комнате пусто и окна настежь. Над Нэверлендом снег.

Мама приносит цветы на плиты, колокол бьет обед.

— *Мы же не станем большими, Питер?*

— *Нет, что за глупость. Нет.*

Неизбежное

Кто тебя увидел — посмотрит с завистью,
ты приходишь в сердце любое язвами.
Говорю наречьем людским и ангельским,
ибо их словами тебя рассказывать.

Я целую волосы — мед и золото,
из сокровищ первое во Флоренции,
быть твоим кинжалом, щитом и молотом,
сделать путь твой легким — иди, Лукреция,

Не коснется грязь тебя и презрение,
ты не бойся впредь ни меча, ни выстрела.
Я тебя скрываю в любом творении,
но ты смотришь с каждой картины пристально,

и в любой черте твоей — неизбежное.
Был звенящей медью, кимвалом яростным,
но ты держишь сердце мое так бережно,
будто не хозяйка ему, прекрасная.

На тебя нужно вешать датчик

На тебя нужно вешать датчик,
наблюдая со всех локаций:

Цель понятна, объект захвачен,
постарайтесь не приближаться.

Ты, как вирус, с моей удачей
не спасет ни одна таблетка.

На тебя нужно вешать датчик,
а хотелось бы ставить метки,

и никак не решить иначе
нашу маленькую дилемму —

на тебя нужно вешать датчик,
а хотелось бы выжечь клейма.

Эта мантра впиталась ядом.

Я тебя запиваю кофе,

я тебя распинаю взглядом,

как конвойные на Голгофе,

это ясно и неизменно —

ты развалишь мой мир на части.

Ты бежишь у меня по венам —

я впиваюсь в свое запястье.

Говорили тысячи книг полезных

Говорили тысячи книг полезных:
лишь дурак внимательно смотрит в бездну,
а потом и слова сказать не сможет,
если влезет бездна ему под кожу.
Что наступит после — читай у Ницше.
У моей у бездны ехидный прищур,
и асфальт холодной бетонной крошкой
у меня расходится под подошвой.
Бездна смотрит мягко, как режет бритвой,
не спасает заговор и молитва.
Не чертить мне мелом защитных знаков —
результат заведомо одинаков:
проникает глубже, срывает связки
и бежит по венам гудроном вязким.
И, хотя темнеют глаза и стынут,
не могу я в сторону отвести их.

Мне раздавит горло стальной гарротой,
если бездна эта в меня посмотрит.

Сколько миль не пройди

Сколько миль не пройди, а дорога узлом свилась,
и кирпич под ногами такой же лимонно-желтый.
Я уже не вернусь в свой далекий родной Канзас,
видишь — туфли в пыли и подошва до дыр истерта.

Говоришь, никакой не мудрец ты и не колдун,
но дорога кончается здесь, никуда не деться.
Я по острым камням ее прямо к тебе иду,
значит ты, мудрый Гудвин, мне и подаришь сердце.

Мы выпускаешь его

Он так просит тебя: "Ну напой мне о чем-то важном".
А слова у тебя — всё больше зола да сажа,
но ты сыплешь их щедрой горстью на лист бумажный,
Потому что за ними приходит он, как к огню.

У тебя что ни взгляд — то мимо, ни слово — язва,
ты их носишь с собой, как нищий — свою проказу,
Говоришь: отойди, эта песня теперь заразна,
а не сможешь уйти — я сама тебя прогоню.

Я пою ни о чем, и ничто мне милее прочих,
потому не тоскую днём я, не вою ночью.
Потому разговоры прерывистей и короче,
и бежит тишина по извилистым проводам.

Он все тянет к тебе ладони, пытаюсь греться,
Эта боль горячее жара, острее специй.
Ты выпускаешь его все ближе, почти что в сердце,
а того у тебя и не было никогда.

И как сказать тебе

Мы будем долго молчать и хмуриться,
стараясь вежливо сделать больно,
и будет где-то горланить улица
машинным ропотом недовольным.

И как сказать тебе это резкое,
как будто ведая тайну таин:
мы два обломка от пазла детского,
но почему-то не совпадаем,

и в этом нет ничего ужасного,
сюжет избит и давно потаскан,
я вижу выход в бокале красного
и бегстве загнанном на Аляску,

оттуда я, через ветры зимние,
смогу нормально тебе ответить
помимо горького "извини меня"
еще о солнце, тепле и лете,

о том, как вечна моя бессонница
и сказку про Дориана Грея.
Ты улыбнешься, и все исполнится,
и строчки эти тебя согреют.

Но не спасает экран компьютерный,
когда так пусто и одиноко,
поэтому ты говоришь "люблю тебя" —
и подставляешь вторую щеку.

Говорили, что Снегурочка

Как в короне царской яхонты, огоньки в лесу горят.
Говорили, что Снегурочка не полюбит Мизгиря,
что чем больше он печалится, тем нежней она поет,
что со дна речного камешек вместо сердца у нее.

Лишь смеется переливами — как жемчужин рвется нить.
Говорили, что Снегурочка не умеет полюбить:
подавай ей лес разлапистый и тропинки в темноте,
травы вешние да ягоды, от дубов высоких тень,

да в Купалу танцы навии все бесстыдней и быстрее.
Говорили, что Снегурочке тяжело жить среди людей.
Злая сплетня с пересудами, словно варево, бурлит,
а Снегурочке не плачется ни украдкой, ни навзрыд.

Только тянет руки белые до пылающих костров,
и так сладко ей, так трепетно, так похоже на любовь.

Толем

Собирала в ладони камни, траву и кровь.
Я творила тебя, тихо пела тебе без слов,
чтобы сделать из мягкой глины живую плоть.
Это я ль не гончар, это ль я себе не господь?

Ты не будешь ничьим творением — только мой,
на тебе мое имя светится, как клеймо.
Я упорно вдыхала жар тебе в сухость рта,
доверяла тебе миллионы подлунных тайн,

Четверть года молчать, собирать тридцать три травы —
ночью камнем лежал, чтобы встать на заре живым.
Ты смотрел, и твой взгляд словно лед меня охлаждал,
потому что не билось сердце в твоей груди.

Ничего не болит и набатом внутри не бьет —
я вложила меж белых ребер тебе свое.
Так прошел целый год, и проходит за ним другой.
Ты сидишь у колен моих, создан моей рукой,
и напрасно с надеждой смотришь в мои глаза,
Потому что мне больше нечего рассказать.

Меня вела не любовь

Ты долго и тщетно меня искал
в порывах дождя и ветра,
гляделся ночами в лицо зеркал,
шептал про себя ответы.
Потом ты потянешься к очагу,
захлопнешь покрепче ставни,
как смел ты подумать, что я могу
тебя навсегда оставить?
Великая ль ценность — твоя душа?
Мы станем одним — и ближе.
Меня полагается приглашать,
по имени кликнув трижды,
и вот я ступаю на твой порог
и в двери вхожу без стука.
Ты так раздирающе одинок
и насквозь изъеден скукой,
ты пуст и раскрыт для моих даров,
окутан дыханьем скверны.
Послушай: меня вела не любовь,
но путь оказался верным.

Это быстро забудется

Это быстро забудется, но пока говорю —
и момент да пребудет вечен.

Ты снимаешь слова у меня с языка
до того, как я их облакаю в речи,
в марте воздух пьется, как молоко,
отдавая сладостью перегретой.

Мне с тобой так неслыханно, так легко,
остается только молчать об этом,
пить зеленый чай и читать Басё,
задыхаться в собственном сизом дыме.

Это быстро закончится, как и всё,
чему люди не в силах придумать имя.

Небо в марте прозрачное, как топаз,
будто свет и впрямь в него переплавлен.

Ничего не останется, и о нас
не напишут песен.

И это славно.

Знамя

Мне приснилось, что ты вернулся
и сумеешь теперь остаться,
только не было сил коснуться, и горела тоска в груди.
Провожала тебя с порога, целовала глаза и пальцы,
знамя вышила шелком алым,
чтоб вернулся ты невредим.
Пролетает вторая осень, я живу, но не вижу солнца,
мне молить бы богов и духов, только губы мои спеклись,
мне послушать бы всех знакомых
("он вернется еще, вернется!"),
но во снах я кричу от боли, а ты падаешь просто вниз.
Было солнечно-теплым счастье,
оттого мне в разы больше,
пляшет в поле седая вьюга, разрушительна и легка.
Я молю и богов, и духов, только небо опять темнеет,
и укроет снегами знамя, что сжимала твоя рука.



Fatum

Ты была мне стезей высокой,
ты была мне водой и хлебом,
все мне снился медовый локон
и глаза твои цвета неба,

только мимо ты шла безбедно,
равнодушна к словам и песням,
и легла мне дорога к ведьме,
что живет в самом сердце леса.

А у ведьмы во взгляде пламя
и в кудрях золотая осень,
говорила: "Молчи, я знаю,
точно знаю, о чем попросишь,

на пороге гостей орава,
каждый с черной бедой приходит".
В котелке закипают травы,
что в любовь превращают холод.

И смеялась колдунья звонко,
очень долго и слишком сладко,
говорила: "Подумать только,
вас таких у меня десятки,

Все хотят только зелье это,
а забрав его, горько плачут.
Хочешь, дам тебе амулеты,
будешь всех королей богаче?

Только золото — такая скука,
подойди, подойди поближе
и не бойся, подай мне руку,
я судьбу твою там увижу".

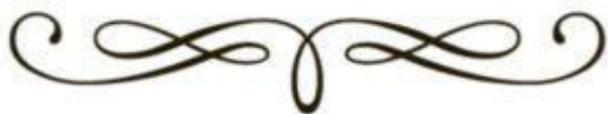
Пахло летом и мятой в доме,
где-то колокол бил двенадцать,
и тогда я вложил ладони
в белизну ее тонких пальцев.

Так проходит зима, другая,
лес шумит, как прибой далекий,

в котелке закипают травы
для несчастных и одиноких.

В нос мурлычет свои напевы,
то ли чудится, то ли снится —
утром ластится нежной девой,
убегает во тьму лисицей.

Глажу кудри — смеется тихо,
держит руки в моей ладони,
и не помню цвет глаз твоих я
и улыбки твоей не помню.



Иванченко И.С,
Ладышкова Н.А.

На другой стороне

Художники

Меньшикова Екатерина (Тимьян)

Кауль Артем

Рубан Ирина

Подписано к печати 29.10.2016

Формат 60x84 1/16 Печать цифровая.

Гарнитура Times New Roman

Тираж 100 экз.

Отпечатано в ФОП Озеров Г.В.

Г. Харьков, ул. Университетская, 3, кв. 9

Свидетельство о государственной
регистрации №818604 от 02.03.2000

